



**ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека
имени Валентина Яковлевича Курбатова»**

Кабинет Валентина Яковлевича Курбатова

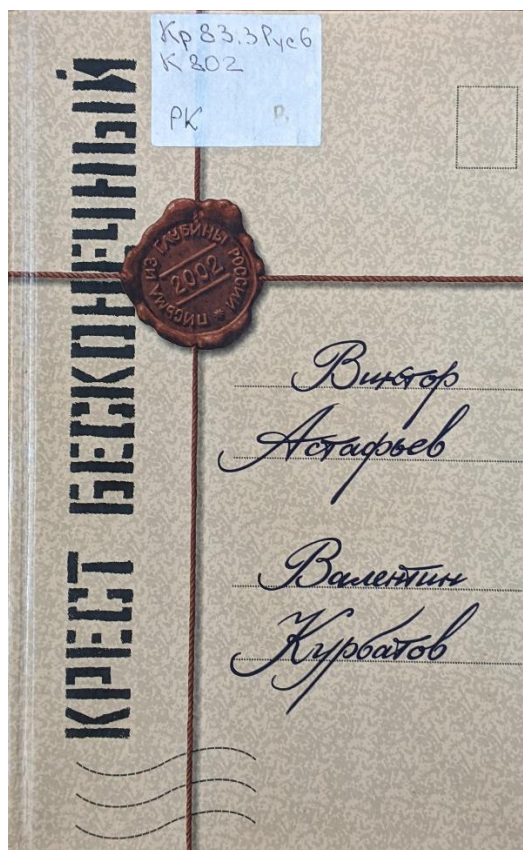
**Общественный проект по сбору цитат писателя, критика,
лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова
«Цитаты из Курбатова»**



Псков

2025

Крест бесконечный. Виктор Астафьев - Валентин Курбатов : письма из глубины России / Сост. Г. Сапронов. - Иркутск : Сапронов, 2002. - 509, [1] с. : ил., факс. - Указ. имен: с. 489-509 . - ISBN 5-94535-025-7



Публикация всякой переписки неизбежно разоблачительна. В надёжную тесноту конверта прячется не одно искреннее движение сердца, которое не передашь на людях, не одна простая информация, расшифровывающая то «ничего», каким мы отвечаем обычно на вопрос «как жизнь?», но – куда чаще – наше действительно потаённое мнение о том, что в прилюдной жизни мы передадим осмотрительнее, а то и перемолчим.

Иногда я думаю, как было бы замечательно во время какого-нибудь собрания «единомышленников» в писательстве вдруг разом явить на небесном экране рентген их действительных отношений в переписке с друзьями. Открылась бы совершенно новая история литературы – сложная, драматическая, необыкновенно интересная и в определённом смысле более точная и справедливая, чем её публичный вариант. И, может быть, она однажды научила бы нас, что было бы выше и благороднее говорить вслух то, что скрыто по конвертам, не страшись обидеть близкого человека и не смущаясь тем, как это перетолкуют другие, потому что эти другие были бы так же открыты миру.

И современная история всегда будет делиться на дневную и вечернюю, кабинетную и кухонную, и всегда мы будем говорить одну половину фразы в одном обществе, а другую в другом. Если только не решимся пойти в святые и юродивые. Конечно, время потом всё расставляет на свои места.

Всякий художник – актёр. Уж на что Пушкин свет и искренность, а и он после встречи с царём с горечью свидетельствовал в себе «подлость во всех жилках». И бесстрашный Толстой всё в неискренности себя корил. Но эта общая игра от слабости человеческой – кто беднее себя норовит притвориться, кто, напротив, – богаче, дурак умнее себя хочет быть, а умный корчит дурака. Это уж от самой жизни, от того, что Шекспир назвал общим театром, где все люди – актеры.

Да и время всё норовит втиснуться в строку, своё словцо вставить с каким-то одушевлённым честолубием. Времени-то и себя тоже выкрикнуть хочется.

Задним числом не поумнеешь и ни себя, ни времени не исправишь.

Что может быть драгоценнее книги и что желаннее?

...Как только узнал тайну и сладость подлинного чтения, так уже сделал книги друзьями, наперсниками, ночными собеседниками, но из этого книжного опыта выросла та же изводящая, истомляющая горечь, которой нет имени и от которой нет спасения.

Я избрал другой род борьбы с шинельной бесцветностью литературы (она ещё эту шинель порою чуть ли не добродетелью норовит выставить – совершенный Грушницкий на водах) – возвращение ей благородного художественного существа. То есть тут надобно начинать с себя, с очищения своего языка, зрения и слуха, а на склизкой стезе литературной критики, тем более при первых шагах на этой стезе – это куда как затруднительно.

Правда – прекрасна, и я берусь это подтвердить великолепной литературой прошлого и лучшими книгами сегодняшней.

...Я бесконечно люблю «Последний срок» (повесть Валентина Распутина – Сост.) с его нежной, печальной, иронической, сострадательной, горчайшей сутью – и какая при этом высокая, чистая литература, какая деликатная в общении со словом.

...Красота и правда в высоком, животворном смысле неделимы.

Под красноречием я разумею не риторство, не цветение пустых слов, не кружева и фарфор, а красную, умную, праздничную речь, которая только и возможна, когда человек ищет истину, и душа его открыта добру и правде.

Душа растёт не только светом, но и бедою, и страданием, и это прекрасно выговаривается в литературе, только бы мера беды не перешла границы и не сломала художника – тогда недолго ослепнуть.

Вообще смерть стала больше ранить. Может быть, потому, что мы видим её только среди близких, дорогих, единственных для нас людей.

Новый год встречаю, как всегда, с тайной робостью – Бог знает, каким он ещё боком оборотится: будет ли желанная работа, не столпятся ли несчастья, которые в общем уже собираются в дорогу.

Это всё от моего странного взгляда на критику. В идеале я хотел бы спровоцировать читателя на собственные размышления, но когда ещё буду иметь на это право и, что самое грустное, когда ещё этому научусь. Это метод изложения истины – скоморошеский – ряжением, когда мысль не высказывается, а возникает из круга ассоциаций, так что читателю кажется, что это придумал он сам. Он начинает очень гордиться собственной проницательностью и увереннее выходит в бурное море словесности. Но это всё мечты, мечты, а пока мучаюсь, мучаюсь...

Это ведь всегда так – в мнении об одном человеке пишущим людям сойтись трудно.

Критик-то из меня действительно не очень крепкий: всё тянет порассуждать о любви, милосердии, одиночестве – ну и «заслоняю» предмет-то исследования.

Горе, действительно, не умеет поровну делиться между людьми. Бог избирает одного человека и истязает его без перерыва, поджидая, пока он изверится, ожесточится, изломает себе душу. И чем менее заслуживает человек боли и страдания, тем больше ему их выпадет.

Михайловское сейчас несравненно — зима ему, пожалуй, даже более к лицу, чем осень. Оно делается безмолвно, пустынно, покойно, и в нём равно ощутимы и поэзия, и ссылка.

...Писать надо всегда сразу, целиком, только тогда выходит что-то цельное и внятно построенное.

Я почему-то думаю, что неизбежно должен присутствовать момент печали, какого-то отчетливого рубежа, а рубежи всегда печальны, потому что они делают отчетливым движение времени.

Только на рубежах и видишь, что ничего не совершается, что главный праздник — это вот как раз будни и есть. Очень большое мужество нужно, чтобы спокойно принять эту простую правду и назавтра продолжить своё дело с вчерашней запятой — без комплексов, без насилия над природой, без утраты рассудка и без отчаяния.

Учусь глядеть на обстоятельства спокойно, потому что это единственная возможность сберечь душу хоть для какой-то работы.

...Есть тип людей, которые изначально неприемлемы, душа не лежит, хоть убей: с ног до головы чужие — видом философией, словарем.

Так вот иногда посидишь-посидишь и вдруг поймаешь себя на том, что душа твоя безмолвна, но нестерпимо воет, и тут бы, кабы помоложе был, то и запил, а уж теперь, слава Богу, знаешь, что это средство хоть и славное, но, увы, не спасительное и надо искать в душе другие силы.

Но мамины христианские уроки мужества со мною, и я гоню отчаяние в шею, хоть и не бодр и беспечен, но спокоен. Этого достаточно.

Здесь, в Михайловском, думал помочь директору заповедника С.С. (Семёну Степановичу – Сост.) Гейченко написать воспоминания – за 75 лет он перевидал бог весть сколько. Он всё жаловался на занятость, когда я ему пенял, что он сорит свои воспоминания в вечерней беседе за чаем. Ну и дай, думаю, помогу – раз занят: запишу на магнитофон, а там как-нибудь обработаем.

Условились чин чином. Я приехал, а он что-то всё уклоняется и уклоняется и уж чуть волком не глядит, что я его за язык тяну. Я и отступился. Он опять стал весел и шумен. Но тут я и понял, что никогда эти воспоминания не напишутся. Ему непременно нужны аудитория, отзыв, смех, любование. И тогда мысль зажигается, начинается пышная импровизация, где правда мешается с ложью, и чем радостнее враньё, тем он веселее, и клубок катится цветной, яркий, пустой рукав летает в воздухе, императоры скачут, оркестры гремят, кровати скрипят, и имена сверкают в воздухе – смотреть больно. Но ушли слушатели, погас свет, и старый скучный человек злобно глядит на лист бумаги и с ненавистью бросает ручку: «Пошли прочь, дураки! Не стану я для вас писать».

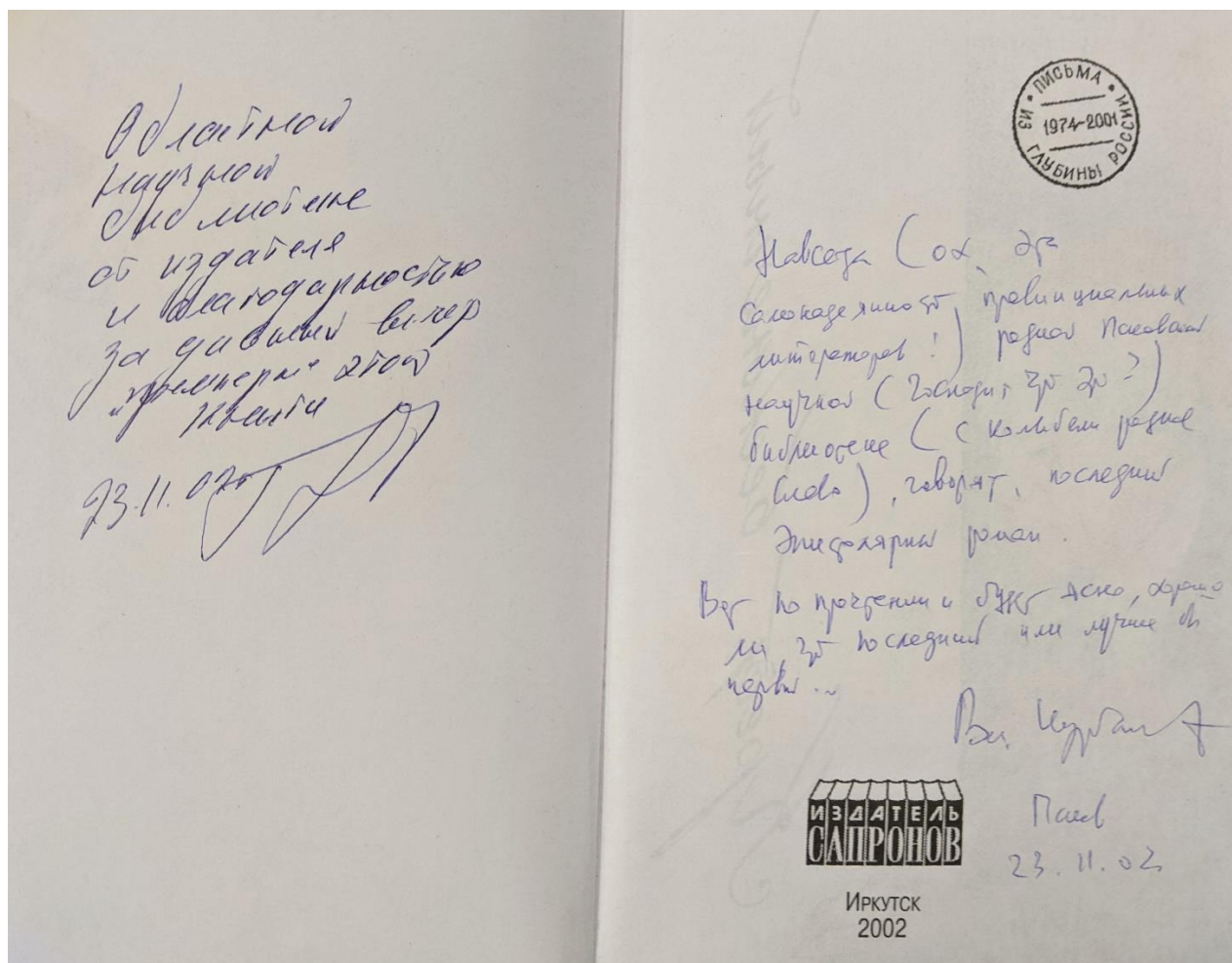
...Понемногу утверждается несуетливая проза, которая решается всякое предложение договорить до конца, хотя читатель торопится и уверен, что схватит мир скорее, чем невыносимо подробный писатель, пока не начинает замечать своего перестроившегося зрения, выравниваемого дыхания и усложнившихся отношений со временем, в котором, как он считал, ему всё понятно.

Всегда меня мучает эта ненасытность – не успел приехать, а уж думаешь о прощании, и красота становится нестерпимой и причиняет страдание.

Нельзя, оказывается, рвать свою духовную историю – воспоминания заселяют дома, улицы, горы за рекой, и к ним нельзя привыкнуть – нельзя сделать дома просто домами, улицы – улицами, они так и останутся кладбищем воспоминаний, словно за стеклом стоят: видеть видишь, а войти нельзя.

Моё поле сражения – бумага, собеседование о насущном без истерики и частных личного свойства.

Ах, это социальное звучание! Вечно у меня с ним нелады – никак не обогащу словарь кровельной основательностью.



Астафьеву:

Как и Вы, перешагнувший из сословия крестьян и пролетариев в сословие сочинителей, я порядочно утомлён этим переходом и временами так душевно устаю, что готов бросить всё и вернуться в родные пределы простых обязанностей и более посильной ответственности. Но погляжу на Вас, вспомню Вашу работоспособность и сизифово послушание за столом и устыжусь своей слабости и снова понемногу подвигаюсь вперёд.

Я вообще не люблю прямых выводов и деклараций, надеясь на чутьё читателя.

Так было бы славно написать о ком-нибудь книжку. Именно о ком-нибудь, а не о проблемах. Во-первых, проблемы нехороши тем, что до конца ничего сказать нельзя, а вполнину скучно, а, во-вторых, такие книги обычно невыносимо скучны, что, очевидно, зависит от во-первых. А вот что-нибудь монографическое – как раз мне по руке, потому что я ведь, как Вы, вероятно, заметили, и не критик вовсе, что не люблю я оценок, что скучны они мне, а люблю я вольное скитание в окрестностях природы, собеседование

одновременно с героем сочинения и с читателем, что есть путь, идущий более от прозы, чем от критики, за что часто и попадает и почему нередко «в профиль» не попадаю.

И хорошо бы не о нынешних писать, а о какой-нибудь провинциальной классике: Телешове, Слепцове, Писемском. Возвращать России её дивную литературную провинцию, загороженную тогдашними гениями и нынешним сором, а между тем глубокую, умную, очень нравственную и корневую.

Вот уж недели две в деревне. Правда, на улицу и носа не кажу – некогда, но счастлив вполне – дом покоен, просторен, тих, уединение так совершенно, что по два-три дня вовсе ни одного лица не вижу вокруг. Работаю, положим, всякую чепуху, но душа всё равно светла, открыта, ненасытна – изголодался по тишине, покою, по целому дню и ночи в полном моём распоряжении – «хочешь – спать ложись, хочешь – песни пой». Из-за стола не встаю, а времени всё равно мало, вот ведь беда, даже не рисую вопреки деревенскому обыкновению. Да, правда, и не нарисуюсь много – комары, как самураи, кидаются, и нет им числа.

Душа у меня к Пришвину лежит, многое откликается в сердце, и можно было написать сердечно и просто, как исповедь, как беседу в сумерках...

На днях в журнале «В мире книг» (№ 6) со своей статьёй об одном ленинградском художнике увидел ещё в отчёте о совещании молодых ещё и карточку под названием: «В. П. Астафьев с молодыми литераторами», где узнал и себя. Так теперь мы с вами и уйдём в пыльные архивы какой-нибудь Ленинки или Книжной палаты бок о бок, и через сто лет последний читатель, ещё находящий время отойти от телевизора к святым полкам истлевающих журналов, мелькнёт глазами по нашим лицам, и мы икнём с Вами там, где ни времени, ни книг, ни фотографий...

Отмирают наши корни и ветки, душа словно облетает, и зябко делается.

...Время изломалось, а мне только и интересно глядеть, что со всеми нами делает время и как они друг с другом соседствуют – совесть и история. А соседствуют плохо, слабых вмиг изувечат.

Но всё-таки отрадно знать, что в случае нужды можно постучать и у отчего порога тебе отзовутся.

...Смерть не бьёт, а как ржавчина выедает детство.

Астафьеву:

Вы начали так отчётливо клониться к ожесточению, что тут уж не помешали бы два-три урока у Гоголя и Достоевского.

В особенности у последнего, которого, увы, читать без Евангелия – значит вылушивать одну полицейскую хронику и упустить выходы для героев. А без выхода литература не стоит.

Чистое зрение может быть возвращено только великой культурой, которая всегда милосердна, потому что видела человека в разных ситуациях и научилась прощать его. Тут как раз религиозное знание (знание, заметьте, а не вера, ибо на веру нас уже никого не возьмешь, для этого мы уже повреждены безвозвратно) бывает очень воспитательно для духа.

И правда иногда руки опускаются, и я готов думать, что не я «со смиренно-христианской» проповедью возвращения человека к человеческому образу, ни Вы [В. П. Астафьев] с гневно-публицистическим требованием переменить всё руководство сверху донизу ничего уже не сделаем. И, страшно сказать, кажется, именно потому и не сделаем, что тянем все в разные стороны.

Увы, дело критика просто и неудобно, ему надо художественный язык писателя переводить на простой язык прямого вывода...

Запутались мы все каким-то диким постыдным и необратимым образом и вот, раз в бомбах как средстве разуверились, так в христианство пустились, которое хотели тоже бомбой сделать, но у русского человека, видно, Бог так и останется в соседстве с печным горшком, который удобно образом покрывать. Видно, нашей вечной религией всё-таки остаётся много раз выручавшее русское «авось». Авось и на сей раз вывезет.

Русский человек терпелив, он и за хлебом будет стоять, как в войну, словно это ему на роду написано.

Маркес тут урок хороший. Только мы и читать разучились, на себя не меряем. Похвалили его и слава Богу, будто и дело сделали, а чтобы душой померяться да устыдиться, так это нет.

Мы стареем телом, но если взглядеться в себя, вдруг покажется, что ум и душа только-только начинают пробуждаться как следует, что мы только сейчас начинаем видеть и слышать драгоценные оттенки Божьего мира.

Астафьеву:

И когда бы мне пришлось сказать тост на Вашем празднике, я поднял бы его за счастье зрелости, за то, что каждый год прибавляет нам юного света и зоркости ума, и за то, что мне ещё предстоит счастье идти вперёд к Вашему возрасту.

Идея есть непременно Вера, есть непременно могучий положительный идеал – дорогу должно быть впереди видно, а когда глядишь, глядишь, а впереди что-то неразличимое, сумеречное, то тут за стол не сядешь.

Можно говорить об истине, но нельзя говорить саму истину, а Вы [Астафьев] решили все раны принародно показать и принародно же спросить: а уж не виноват ли кто-нибудь во всём этом?

...В старину не зря молились, чтобы Бог избавил от славы, зная только то, что она – «крест бесконечный» (Пришвин), но и то, что она неизбежно ведёт писателя в ложные условия. Он скоро перестаёт писать с прежней естественностью и свободой, с той живой радостью, с которой прежде выговаривал свои боли или утехи, а как-то всё время искоса поглядывает – то ли он говорит, доволен ли им читатель, ведь он (читатель) так доверчиво отдал ему своё сердце? И уж тут, глядишь, или в морализаторство заедешь, поверишь, что ты учитель, и примешься мордой его, как кутёнка, тыкать или лаской к добру обращать, или наоборот (если он от тебя яду ждёт) такого ему подсыплешь, что того гляди сам отравишься. В обоих случаях из сочинений уходит здоровая непосредственность, и с нею безгрешная убедительность повествования, бескорыстие уходит, а без него уже никак в тон не попадешь.

Кажется, я это говорю к тому, что, может быть, Вам послать меня да иных господ учителей, которые требуют от Вас подвигов и величавых эпопей, решающих последние вопросы бытия, а взять да и со всею нежностью и Вашим

умением написать всех, кто просится на бумагу, – всё это великое население рыбаков, которое Вам так ведомо, восславит их со всею щедростью.

А подвиги и пророчества всё равно по заказу не делаются – они однажды исторгаются из сердца, и ты сам сказать не можешь, как это случилось, что оказался посреди площади, а вокруг горит глазами толпа неофитов.

Я всё больше убеждаюсь, что Вы по складу лирик, а не эпик, что Вам не вселенную охватывать, а сердце в руках держать....

Вчера выступал по телевидению Даниил Гранин. Очень хорошо говорил и об уважении к истории, и о благодарности к природе, и о пьянстве, и о равнодушии – о многих наших болезнях. Не кокетничал, не притворялся, не напускал на себя мировых скорбей, живой говорил о живом – я думал о нём хуже по его несколько чужим мне книгам и радостно раскаиваюсь в своём заблуждении.

Увы, истину искажают не критики – они всегда, вовеки – свет отраженный, и, если уж пошли мелочиться и пакостить, значит, кто-то из творцов их растлил.

Враг всегда личен, а в литературе нет безымянностей, равно в прозе и критике, и даже сотня подлецов не может обесчестить самой профессии.

В откладывании всегда есть опасность: думаешь – не время ещё, пусть отлежится в душе, а как отлежалось, смотришь, у материала-то уже пролежни появились, и он не жилец.

Я вот, грешный, думаю, что если бы даже люди выдумали Бога, то это одно было бы так величественно и страшно по силе замысла, что человечество смело могло больше не думать о смерти – сим победиши, как говорили в старину; одним этим замыслом люди отменили смерть, а значит, если и не было Бога, то создали и утвердили его во всём величии силы.

Что весь здравый рассудок самонадеянного человечества значит перед простым фактом – что человек перестал бояться смерти. Не обманул сам себя, не притворился, что вознаграждение его ждёт, а просто сказал смерти – тебя нет.

...Русский человек мало считается с авторитетами, если они не утоляют его жажды правды, но они же и защитят, и оберегут даже и того, кого сами вчера срамили, если увидят его в подлинно несправедливой обиде.

Вправе ли художник требовать от читателя, чтобы его знали? Или хотя бы надеяться на это? <...> Очень боюсь, что нет. Читатель выбирает книги сам, и критика... ничего в этом выборе не определяет.

Критика-матушка опостылела. Человеческого слова не скажи – непременно подавай теоретические выступления, пережёвывай общие места, умничай побольше и цитируй, а свои душевные движения побереги для дружеской беседы, где с тебя правил не спросят.

Почитываю себе разные разности – жду, когда надоест. В этом преимущество нашего брата – новообразованного интеллигента. Всё в новинку. Куда ни кинься, везде ты невежда, и это защищает нас от скуки, которая поедом ест бедных наследственных умников, которые с двух лет говорят на всех языках, а к восемнадцати уже исчерпывают человеческую мудрость.

А я сегодня читаю Ключевского, завтра – Шпенглера, а ещё три дня пройдёт – буду на Восток заглядываться, чтобы через четыре – увязнуть в родных славянофилах. А ещё океан музыки, чуть надкушенная мной живопись; а ведь есть ещё королева наук – богословие, которому сослужит весь этот бедный хор философии, литературного театра, научного и доморощенного атеизма. Вот куда бы я пошёл – пусть меня научат!

...Жизнь маленького человека рядом как-то роднее связывает с жизнью, поближе её подвигает, лишает той умозрительности, в которую мы нет-нет и загоним нашу житуху, чтобы половчее истолковать и тем хоть немного приручить её.

Ах, лето, лето! Всегда узнаешь его по тому, как сиротеют почтовые ящики. Разбегается народ кто куда в весёлых заботах огорода, странствия, пляжного безделья, забывает, что где-то кто-то всё заглядывает в прорезь почтового ящика в надежде – не забелеет ли там край конверта, а оттуда тьма египетская совиным голосом: иди, иди, Бог подаст. Скучно и одиноко.

Время изговорилось и избегалось до того, что уж глядеть стыдно. А слово наше бедное совсем стало никому не нужно. Журналы битком набиты старыми

драгоценностями, каждой из которых в недавнее время хватило бы, чтобы понять, что мир ещё постоит, а теперь именно их множество и общее равнодушие к ним убеждают, что история вот-вот кончится. И не Апокалипсисом кончится, не войной, не Страшным судом, а какой-то ленивой скукой, общим наплевательством. Одна надежда, что это, кажется, становится видно всем, и похоже, что вот-вот мы набегаемся и наговоримся, и если за это время не вляпаемся как-нибудь в кровь, то начнём спокойно обдумывать самих себя. Материал уже собрался, диагнозы в великих публикациях прописаны, рецепты – тоже. Дело за малым – за желанием услышать и сдвинуться...

Покойного старого быта не осталось вовсе – никто уже не сидит вечерами спиной к теплой печке и не разговаривает с соседом об урожае, никто, связав очки верёвочкой, не пишет дальнему другу обстоятельного письма о нравах, наблюдениях, погоде, здоровье. Все стали экономить своё дорогое время для более корыстного использования. Я и сам, грешный, всё чаще откладываю письма («чего время-то тратить – лучше статейку сочиню»), но скоро вижу, сколь мстительна такая экономия, как она сиротит душу.

Темы для своих сочинений теперь тоже придумываю промежуточные между церковью и литературой. Спасибо, что словесность наша всё чаще поворачивается в ту сторону и делает это всё глубже и достойнее. Жаль только, что дороги писателей в монастырь удлинились.

Сейчас только друг за дружку держаться. Не заводить себя, а, напротив, в опоре и согласии свету душе прибавлять, вопреки миру восставлять сердце к добру, потому что, кажется, кому-то уж и на руку, что мы вот-вот остатки святых русских начал прикончим, а уж тогда выйдут вперёд такие наши «добродетели», что только разбегайся, ребята, по деревне, прячься кто куда, потому что мы им быстро остатние заборы поразберём да и перебьём всё подряд – окошки так окошки, живность так живность, хоть бы и человеческую...

Вот похоронили и Юру Селивёрстова. Для меня это был удар из сильнейших за последнее время, потому что хоть мы с Юрой и дружили только три года, но эта была дружба, какая в наши лета уже не посылается – чистые близнецы были. Стоило одному первое слово сказать, как второй договаривал, только заведи песню, и уж пошло-поехало, дома, в машине – где хочешь. И эта радость жить, которая во мне тоже была, да вот убывать стала, в нём держалась всегда, и я рядом опять оживал.

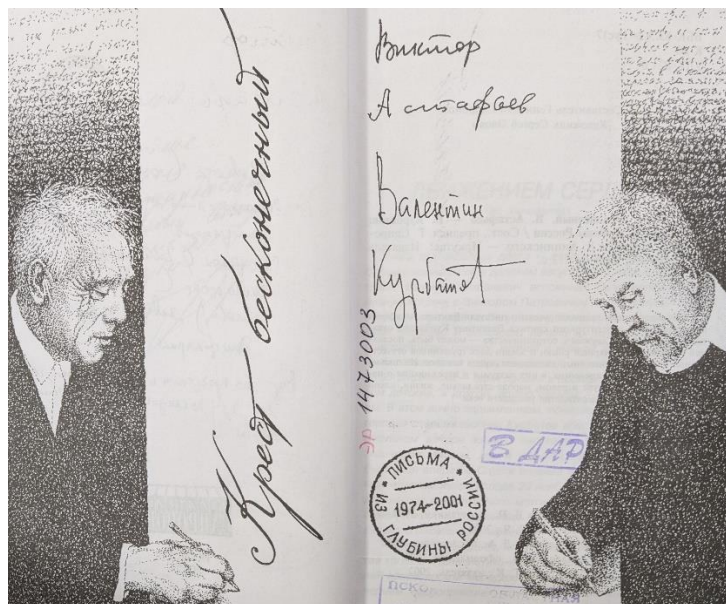
Работается плохо. Душа расхищена пустяками, мелочью быта, сбегающей отовсюду неправдой.

Я пытался работать и вот ещё одну штуку высмотрел, чем провинция губительна – интонация-то вот этой жизни, удаль этого быта, злая его чернота как-то отменяют наши словесные заботы. Странно и ненужно кажется думать о чём-то более тонком, чем эта остервенелая жизнь, а она не литературы требует, а такой же защитной простоты. Так что или будешь сопротивляться и всё время чувствовать дребезг непопадания, или сдашься и завьёшь горе верёвочкой.

Вот ведь чудеса-то: можно заранее хоть до слова знать, что близкий человек тебе напишет, а всё-таки письмо будет теплее твоего знания и утешительнее. Видно, сами буквы, движение рук хранят что-то такое, что иногда дороже самого значения слова. Даже, наверное, и не так, а слово по-настоящему только и полно, когда в глаза сказано (а не по телефону) и когда написано.

Гениев-то в стране может быть и через край, но если один будет печататься в одном издании, другой – в другом, десятый – в десятом, то их словно и не будет вовсе – тут законы простые и здоровые.

Введение ругательств иногда смущает не ухо, а глаз – слишком непривычно начертание этих для уха обыкновенных оборотов. Можно поверить уху, но как изменить психологию зрения, как преодолеть бессознательное сопротивление глаза?



И мне опять хочется вступить за церковь. Вчера я был в музее П. Д. (Павла Дмитриевича – Сост.) Корина, а потом зашёл в самую его мастерскую, где стоит безмолвный холст вышиною до небес без единого штриха на нём, а у подножия теснится человечество, которое должно было его населить. Вы знаете этот его замысел – «Русь уходящая». Тут написано всё тогдашнее духовенство от патриарха Сергия до неведомого чернеца. И всё это исполнено такой величавой силы, духовного могущества, такого высокого знания правды, что теперь уж, кажется, и сам тип этого лица и этого света ушёл. Впечатление так значительно, что вполне понимаешь, почему этот замысел не осуществлён до конца. Это был действительно уход Руси, но уход в свет, не обнимаемый тьмою. Герои этих холстов были так велики мыслью и знанием, что полутора- и двухчеловеческий рост холстов был им единственно соразмерен – по духу и плоть! Это портрет Руси в её лучшем выражении, в последнем развитии, и покажи такую «Русь уходящую» на громадном холсте, и за ней должен был бы уйти весь народ, потому что без этого света и силы – земля ему пустыня, а он – сирота.

...В церкви человек стоит посреди истории, он не безроден и не вчера родился, а за ним идёт всё прошлое, как живое и сегодняшнее.

Человек стоит в сегодняшнем дне, где нет прошлого, а один долгий день, за который ему тоже надо отвечать. А молится он не за одного себя, но за всех страждущих в этот час от болезни, одиночества, скорби, гнева и нужды, за всех «труждающихся и обременённых», потому что на земле нет ему чужих людей, а все – семья (братья и сёстры).

Человек в церкви не может быть сиротой и не может быть поражён беспомощностью и цинизмом – ему и душа не даст.

А когда является со страниц нечеловеческая сволочь, во всех видах, то только рвёт душу бешенство и бессилие, и свет не мил, а стыда за себя нет. Перебил бы всех или сам с собой что сделал, чтобы человеком не числиться – вот и всё состояние. Тут, наверное, тот парадокс, что такие рассказы не читают сами их герои – ни страдающие женщины, ни лагерные сволочи. А те, кто читает, живут иным миром, а рассказ как бы идёт стороной.

Меня же не переделаешь. Я всё время говорю то небольшое, что чувствую, и не оглядываюсь на профиль издания, потому что знаю – единственный способ образумить тех и других... это говорить третью правду, которую некогда

проповедовал Волошин: «молиться за тех и за других», потому что среди читателей... есть просто люди, которые хотят слышать обычный голос «из хора», и с ними надо говорить на человеческом языке.

Я при всех расхождениях сначала буду дружество беречь, а уж потом частности выяснять. Горе, конечно, что частных этих уж очень много, но, слава Богу, и терпение у меня не последнее – понемногу разберусь.

...История менее тороплива, чем мы грешные, и она умнее, спокойнее и рассудительнее нас. Ей два-три века – не время, и она спокойно сводит нас и внуков в одно целое и уходит дальше, к более разумным нашим потомкам, хотя поверить в этот наш разум уж очень трудно.

Я вот третьего дня в лагерь строгого режима у нас под Псковом ездил – тоже не думал, что что-то удастся с задуманной там часовней. А вот вышло – «элемент» работал на совесть, иконы писал (Богородицу уж писал такой красоты, что сказать нельзя), так всё брал «под лак», что глазам больно. Ну вот и служили с ними как умели, и читали они сами что положено, и после без конца всё «про божественное» говорили. И видно, что у некоторых это уж и зацепилось, и росток не сшибёшь, и они среди шпаны стоят на удивление твёрдо.

Астафьеву:

Крепко вы взялись одиночество своё строить.

Пока выпимши говоришь, кажешься себе и глубок, и умён, а потом взглянул на печатные-то буквы и видишь, какой ты дурак и суеслов. Сто раз зарекался какие бы то ни было интервью давать, потому что всегда результат одинаков, но всё неудобно гордецом себя выказать, отказать неловко – вот и расхлёбывай. Правда, когда издание поближе, я выправляю текст и порой до слова переписываю, а вот когда далеко, там получаешь по заслугам и в полный рост.

А афиши всё веселее, всё развлечься приглашают на все лады. Сплошное «ша-бемоль». Как перед потопом. Только и разница что благоразумного старика Ноя нет. И некому заложить ковчег, чтобы потом опять потихоньку расползтись с Аларата. Нет, теперь уж решили окончательно отгулять и задернуть занавес.

Так всё рука об руку и идёт – совершенная смерть и совершенная жизнь. Только смерть понаглее и погромче, и её лучше видать, вот иногда и устанешь, и махнёшь рукой. А подумаешь – так ничего, жить можно.

С какого-то года, правда, человек начинает поварчивать: с чем тут поздравлять – старею вот. Раньше-то, наверно, народ поменьше ворчал, потому что праздновался не день рождения, а день Ангела – неудобно было на Ангела-то благодарный голос возвышать, ну, а поскольку мы теперь редко себя Божьими детьми осознаём, то и позволяем себе пороптать на скорое течение лет. Только и из старости, и даже из обступающих недугов – всё равно слава Богу, что мы живём, глядим на белый свет, чего-то про него думаем да ещё и сказать умеем про то, что думаем.

Умные богословы только всегда и советовали человеку учиться прозрачности, чтобы Бог «сквозь них» глядел незатетённым зрением. Нашему брату можно помучиться и без этой прозрачности. А Вам [Астафьеву] уже нет. Вам теперь за всех Ваших героев предстоит понять, за что они страдали, какой в этом был Божий смысл. А он во всём есть, да только вот разобрать некогда – легче наорать на него...

Эх, если бы мы хотя бы научились вот этому – без опережающего раздражения дослушать, что скажет противник, и попытаться понять его половину правды – не составит ли она вместе с твоей половиной целого. Нет, мы все с порога уверены, что целое только у нас, а у них просто ложь.

...Собрать русского человека, если действительно это кого-то занимает сейчас, ещё можно под единственным не заплёванным и не обесчещенным пушкинским знаменем.

А в Москву-то неделю не наведаясь – так враз позабудут и не будешь знать, где голову-то подклонить с сочинениями-то своими.

У нас ведь не Петербург – у нас Михайловское, у нас – Печерский монастырь, у нас Чудское озеро, где во-о-от такие сиги!

Сколько Вы прибавили нам родни своими книгами, дорогой Виктор Петрович, и тем спасли от беспамятства наше осиротелое, обворованное злым

временем и нечистой идеей сердце! И как безжалостно, но тем и целительно сохранили в этом сердце и то, что нам хотелось бы забыть, но чего забывать нельзя, чтобы опять в ту же порочную колею не забежать.

О творческом процессе.

Вдвоём хорошо только зубоскальские комедии писать, да холодную водку тёплым вечером пить.

Мир только притворяется разумным и перспективным. В нём и болезни часто сродни формам убийства, потому что являются от напряжения сердца из-за нечистоты жизни, из-за сгущающегося зла. На фоне нарядной, господне светлой весны эта тьма человеческого своеволия и одичалости особенно мучительна.

Вот оно, оказывается, что такое старость-то. А я её, матушку, хвалил как время покоя и зрелости, ясности и дали. Это пока здоровый, а чуть чего, к ней и рифмы иной не подберёшь, чем «гадость». Ну, однако, полезет из земли лучок или редиска, и опять отойдёшь и начнёшь смотреть веселее.

Наш брат – ведь он всегда немного зеркало того, о ком говорит или пишет. Я вон про Вас так пишу, а начну про Пруста или Борхеса, и сразу и словарь другой, и интонация, и ритм другой.

Мир, как всегда, живёт болью и воскресением. Всё рядом.



Курбатов Валентин Яковлевич

Долги наши. Валентин Распутин: чтение сквозь годы / Курбатов Валентин Яковлевич - Иркутск : издатель Сапронов, 2007. - 293, [1] с. : ил. - Издание с инвентарным номером 2168В с автографом автора . - Издание с инвентарным номером 2168В с экслибрисом Александра Александровича Бологова - Библиогр. в примеч.: с. 289-293 . - ISBN 978-5-94535-075-5



А время за эти годы вело себя со злой лёгкостью уличной девки, меняя пристрастия и избранников, как будто на знамени её было написано: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...» Да и все мы в этом времени заразились беглой поверхностностью и, может, впервые за историю России перестали слышать её сердце, обманув себя, что и она сама бежит вместе с нами.

Распутин за эти годы, как и вообще в жизни, не изменял себе и был ровен и твёрд, и всякое его слово горело огнём, да мы торопились жить «вперёд и вперёд». И всячески норовили оставить его на периферии суетного литературного процесса, отделавшись от его обязывающего наследия ничего не стоящим внешним уважением, как привычно отделяются умные нынешние молодцы от прежде великих людей, чтобы те не путались под ногами с их старомодными смешными понятиями: совесть, традиция, «любовь к отеческим гробам», самостоянье и честь.

Мы вообще стали стыдиться этих слов, как и самой русской мысли, — слишком она кажется романтической и «детской» в нашем скоро «повзрослевшем» расчётливом мире. Ещё вчера, помните? — какую журнальную

статью не разогнёшь, тут тебе и Леонтьев, и Чаадаев, и Федотов, и Иван Ильин. И каждый из них так укоряюще точен, что сердцу больно: что же это мы уж вон сколько пережили и сколько понаделали, а всё будто на месте стоим и всё главного своего, о чём они говорили, не делаем? И вот вместо того, чтобы *делать*, мы сначала предпочли их цитировать, а потом уж и это показалось обременительно и беспокойно. И мы и цитировать перестали. Закрыли глаза. Тогда как те, кому Россия поперёк горла, под шумок удваивают усилия, чтобы мы окончательно нашли свою мысль наивной и не годной для «цивилизованного» развития.

По поводу «Объяснительного слова» Достоевского к «Речи о Пушкине».

Я ведь тоже всё это сто раз знал и резануло только вот это Le Pravoslavie, через губу названное по-французски, как что-то дикое, о чём уж и говорить неловко.

Нынешние-то вроде похитрее, и сами нет-нет про храм скажут, про пресловутую «дорогу к храму», которую им так бы и хотелось оставить дорогой – без конечного пункта.

...Внутри храм (*Богоявленский храм в посёлке Усть-Уда Иркутской области, на который помогал собирать деньги Валентин Распутин – Сост.*) чудно хорош – высок, светел, праздничен чистотой стен, новым алтарём прекрасной работы, самым дыханием предчувствия молитвы. А староста уже несёт нам бахилы на ботинки, как в щегольском музее или хорошей клинике. Это чтобы мы не повредили паркета. Я и глазам не поверил. Это что же, усть-удинские мужики и бабы будут тут в бахилах стоять? Или у порожка встанут и вперёд ни-ни, чтобы не натоптать? И это сейчас лето и чистота. А по осени, по весне в посёлке, где и асфальта-то почти нет, много чего на ногах принесёшь. Да ведь они сюда не с одной радостью, а и с бедой придут. Не с одними крестинами и венчаниями, а и с покойниками. А там, глядишь, и на литургии потянутся, и по праздникам крестным ходом вокруг храма пойдут. И тоже, значит, вышел, снял бахилы, вошёл – надел. Тут уж и не до службы будет. Ладно, жизнь сама всё по местам расставит. Пока же это говорит только о понимании церкви как праздника и немного театра.

Будет, будет прогресс, а души уже не будет. <...> И мы бы так и загоразивались нуждами государства и естественного развития, если бы однажды русский художник не открыл нам на судьбе единственной деревни – что это, оказывается, такое – «естественность развития», как выжигает она стократ больше, чем созидает, и каким палом идёт по душе и истории. И вот за Матёрой неизбежно ушла под воду забвения целая страна Советов со всем, что

нажила и надумала. А мы и не спохватились, хотя она нажила и надумала не одни низости, а и великий духовный опыт. Привыкли.

Теперь время, как злая вода, летит на него [Распутина]. Ложе духовного опустошения приготовлено. Всё сожжено и повырублено – пора пускать новую воду, и она уже кипит и бесится в литературе, несёт в мутном потоке остатки идей, обломки традиций и преданий, кресты брошенных кладбищ. А он матёрой стоит на пути, не верит обещаниям нового времени, изо всех сил держит то, что любил, что считал честью и светом, Родиной и правдой. Надо или срубить его, как не дающийся в его повести листвень, или обойти.

Время предпочитает обойти, отнести его по ведомству «советской литературы», по которой справил весёлые поминки Вик. Ерофеев. Не тревожит себя время тем, что один из лучших его художников молчит и уже готов с тяжёлым сердцем повторить за Виктором Петровичем Астафьевым каменные слова: «Мне нечего сказать вам на прощанье».

И мир изо всех сил убеждает тебя, что «правда не твоя», что всё, что ты оплакивал и старался удержать, должно было уйти.

Ведь мы потому и бежим, что боимся остановиться. И потому и обновляем, как в супермаркете, нравственные правила на каждый день новые, чтобы не отшатнуться от пропасти, на краю которой стоим.

Переломы столетий всегда тяжелы и даются нелегко. И задним числом мы уже научились на своём историческом опыте прозревать значение посылаемых нам испытаний для последующего обновления. Научились понимать, что без боли никакое историческое движение не даётся. Но это когда речь о прошлом. А поди попробуй сохрани оптимизм и веру в обновление среди сиюминутных обременительных для ума и сердца забот и теснящего разорённого быта. К тому же когда испытание затягивается и становится не переломом, а самым временем, вмещающим всю твою жизнь. От одного исторического опыта не успеешь опаматоваться, как уж нового жди. Готовься вновь испытать на себе сбой исторического механизма и понять справедливость восточной молитвы о том, чтобы Бог миловал жить в интересные исторические времена.

Обычно-то история вершится «втихомолку». Человек живёт, работает, воспитывает детей, выступает на собраниях, стареет, а потом оказывается, что так незаметно прожитое время зовётся «сталинизмом», «эпохой застоя», «перестройкой», сменой формации или её упадком. <...> Но сегодня... История

словно выходит вперёд, делается нестерпимо отчетлива, слишком откровенно теснит человека, отнимая у него спасительный обиход...

В литературе же, как в нервной системе народа, всё отзывается с особенно преувеличенной остротой. Словно мстя себе за вчерашнюю недальновидность, недомолвки, невольное соглашательство, литература набрасывается на историю, перепроверя ещё вчера устойчивые оценки и принципы.

Но настоящие преобразователи и хранители времени, истинные его путеводители состоят с временем в менее прямых отношениях и совершают свою работу медленнее, незримее, но зато и глубиннее и неотменимое. Они как будто напрямую не совпадают с историей, то опережая её, то по видимости отставая, но это именно они сохраняют её духовный стержень, составляют тот неколебимый фундамент, который остается невредим, даже когда историческую постройку уносит временем, как соломенную хижину, и когда на вершине сооружения на краткий час оказываются удачливые ловцы ветра.

...На Руси всегда проза ставила себе такие высокие нравственные задачи, что на такие пустяки, как устройство житейских сюжетов, просто не оставалось времени.

При исповедальности русской литературы, при страшной доверчивости и прилудности существования наших писателей, вызывающей изумление западных исследователей и безжалостное пародирование трусливых домашних иронистов, эта распутинская «скрытность» могла бы показаться и странной, если бы одновременно непонятным образом мы не чувствовали в Распутине, что именно он-то, пожалуй, ещё и доверчивее и открытее других.

Вот мы и поищем его [Валентина Распутина] жизнь в его произведениях – авось в этот невод нечаянно попадёт и время.

Лучшие из них (*художников – Сост.*) всегда помнили, что корнем патриархальности служат Отчество и Отечество, и считали её не «ветхозаветной», а необходимо и единственно живой точкой отсчёта, без которой возможно стилевое разнообразие и художественная свобода, но невозможно здоровое бытие народа и культуры.

Завет оттого так и оберегался, что, делаясь для торопливого сознания «ветхим», он не истлевал, а естественно прорастал в Новый, становился крепче и надёжнее для последующих поколений.

Гении были только более «нормальными» детьми своего народа, и если взрывали что-то, то только то, что успело омертветь и завалить дорогу к живой воде. В русской культуре, от рождения своей религиозной, патриархальность тем более уживалась с новизной, что в её основе лежал вечный диалог Ветхого и Нового заветов, и она всегда держала этот нравственный камертон нерушимым. Так старики могут только глядеть на игры молодых, но и самим молчаливым присутствием не дадут молодым заиграться до беспамятства, до потери главной соединительной нити.

Новое поколение всегда кажется себе умнее предшествующего и торопится перевести минувшее в удобную категорию, в простой фундамент для своего устремления, хотя на самом деле диапазоны внутри поколения, всякого поколения, безграничны, как жизнь. Герои там, как во все времена, соседствуют с негодями, святые – с деспотами, и борьба сил внутри поколения ничуть не менее драматична, чем между поколениями.

...Русские ребята, которые тоскуют от того же сиротства, от той же оторванности, только не догадываются, что это их окликает родная земля, томит страшная отцовская история, и не даёт покоя трещина между старым и новым миром, которая была проведена насильно и не заживлялась.

...Трещина проходила, наверно, через всю Россию, и если перечитать все книги тех лет, равно центральных и окраинных издательств, то «шестидесятники» всех ветвей в них будут таинственным образом едины. Ведь вот и в одной из первых настоящих пьес лучшего распутинского товарища по университету, ближайшего друга и советчика последующих лет Александра Вампилова, в его «Прощании в июне», где всё полно пьянящей юности и света, в каждой сцене слышно тем не менее и что-то дальше прямого конфликта, и всё дребезжит и дребезжит струна, которая скоро страшно полоснёт по сердцу героя и зрителя «Утиной охоты». И в газетных тогдашних Саниных статьях (Вампилов подписывал их псевдонимом А. Санин), полных весёлой всеобщности, молодого задора комсомольскихстроек, романтики палаток (никто из них тогда ещё и думать не думал, как отзовется этот романтизм на стране и на них самих), уже проговаривается, обещается что-то, чего он и сам ещё не умеет выразить, потому что талант оказывается умнее мировоззрения.

Вампилов умом времени всегда знал, где нужных газете героев искать, но, прежде чем к ним зайти, ненароком останавливался с другими ребятами о житейском потолковать, о том будничном, что газете нейдёт, но что хорошо обсудить с близкими людьми.

Провинциальная жизнь опасна талантливому человеку. Один, он после хорошего начала и первых похвал может скоро перегреть своё честолюбие и так увериться в недюжинности, что скоро уж и работать перестанет, кинется в учительство. А там и запьёт «не по таланту», как шутил Вампилов, износит силы, ожесточится на новых подросших незаметно молодых и сгинет в несчётных рядах российских неудачников, павших жертвой провинциальной нетребовательности к своей духовной неготовности и к тому, чтобы носить тяжкое и ответственное звание русского литератора.

Механизм влияния вообще тонок и сложен. Душа растёт во все стороны разом и в каждом сильном явлении узнаёт своё и пускается в повторение, чтобы в близком и чужом разглядеть свою ветвь психологии и бессознательного опыта.

Так и выходит, что с одним влиянием укрепляется стиль писателя, с другим изощряется его зрение, с третьим прозревается единство мира.

То, что иногда мерещится нам только прямым подражанием, на деле оказывается догадкой художника о новом знании души – разве что дар пока недостаточно силён, чтобы высказать все индивидуальные оттенки «одежды».

Влияния – это не маски, а только зеркала растущего самосознания, ещё не узнавшего, какое его лицо «суждено миру». Человек словно проступает в них (как протирают запотевшее стекло), пока не становится виден весь.

Чем ближе к сегодняшнему времени, тем чаще мы сетуем на недостаток оригинальных талантов. Между тем, как ни грустно сознавать, такое отсутствие почти естественно, потому что человеку всё труднее узнать себя под теснящими, всё плотнее обступающими отражениями.

Спасти художника от этой почти невольной коллажности и ему самому подчас тягостной вторичности может только достаточно сильная идея, духовная свобода и настоящая тревога о человеке. А это одним талантом не даётся

и не технической вооружённостью достигается, а именно глубиной *анонимности* художника, волей народного начала в нём.

Влияния помогают прозрению, но они же искушают и обманывают. Всё зависит от того, с чем ты выходишь в путь творчества, сколько в твоём «я» единственно твоего, а сколько народного, и чей голос в этом непрерывном диалоге судьбы сильнее.

Мне кажется очень существенным, что, когда позднее Вампилов прочитает ему [Валентину Распутину] первый вариант «Утиной охоты»... в котором Зилов кончает с собой, Распутин посоветует ему оставить героя в живых. Он уже научился у своих старух видеть законы жизни глубже новодельных интеллектуалов. Умственные люди... ...Хоть придумывают тысячи интеллектуальных отговорок, а не кончают (*с собой – Сост.*), не ведая того потому, что до них жили на земле те самые «простые люди», подчас не ведающие грамоты старики и старухи, которые родовым своим природным умом и обыденным трудом жизни неведомым образом спасают от гибели и своих бедных заучившихся внуков, каковые от праздности, расшатанного механизма жизни и неумения отвечать за кого-то, кроме самих себя, выпадают из порядка жизни, пускаясь в оправдание зла, в равнодушие... Умственные люди, вроде вампиловского Зилова, потому и ломаются, что выпали из родового круга, оборвали пуповину земли и веры, и могли бы и правда себя извести, когда бы на глубине не тлел огонь жизни, память бессознательной, но умной и спасающей родовой правды.

Старухи по своим доживающим сёлам памятью, почти сведённой со свету, но слава Богу, живой в них церкви научили Распутину, что жизнью нельзя распорядиться по своему произволу, потому что она принадлежит не одному тебе.

В «Василии и Василисе» всё держалось только на глубокой вере писателя, на его уповании, что так должно быть. Когда кино попробовало просто пересказать сюжет без чистой силы авторской правоты, вышли ряжение и любительский театр в подлинных декорациях. Между тем именно с Василисы по-настоящему начинался ряд великих распутинских героинь, его уже общерусских незабываемых старух, которых он теперь будет писать неутомимо, не умея надивиться их силе и вековой, природной, охранительно постоянной в своих уроках мудрости.

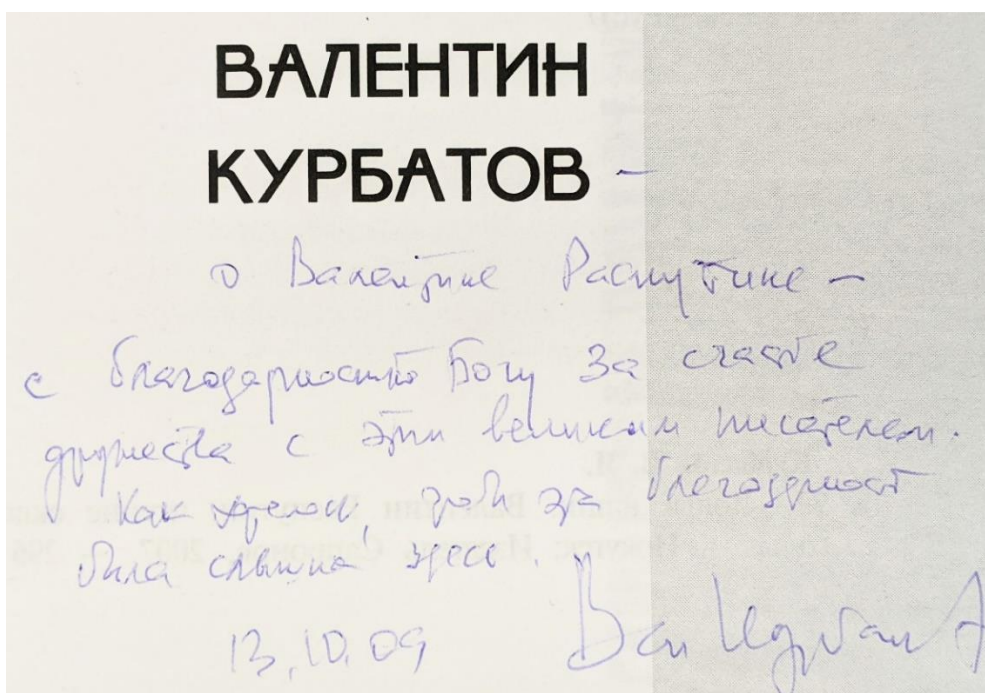
С шекспировских кормилиц эти старые хранительницы опыта делятся с человечеством своим здоровым знанием, не подводившим и неизменным, как природные законы, но, несмотря на его простоту, каждое поколение возвращает этот опыт снова от зерна к колосу.

И если на чём держится этот некрепкий ещё распутинский рассказ («Василий и Василиса» – Сост.) и сейчас, то не на одной живописи и глубине характеров, а на этически сильной, национально значительной мысли.

Литература была первой естественной самозащитной реакцией народа.

Каждый из нас в свой час при здоровых корнях... однажды особенно явственно слышит в себе голос своего народа, отчётливо чувствует, что пришёл его черёд принять эстафету ответственности, и со смятением понимает, что судьба Родины теперь в руках его поколения.

Философы и писатели России не придумывали теорий, а только свидетельски передавали то, что бродило внутри часто как будто забывшей себя России. Молчание и дело переводили в слово, порою раздражавшее европейского читателя иллюзией самонадеянности (как это слово Достоевского о всемирности), хотя это было только верное чувство призванности и силы, которому не надо было прятаться за притворной смирностью.



С самого начала писательской работы Распутин тяготел к той умной русской простоте, которая и составляла для европейской культуры загадку нашей жизни и литературы («Умом Россию не понять...»). А жёстким сдвигом реальности он только высвечивал всю глубину и многосложность обычно пропускаемой нами мимо ушей будничности, заставляя трепетать каждое слово первоначальной полнотой смыслов.

В детстве раз подумаешь вдруг, что все мы, дворянских и крестьянских родов, записанные в гербовые книги и сгинувшие без вести в волостных архивах, уходим куда-то в страшную воронку времени, которая в конце или сходится в точку полной тьмы, или вспыхивает в светозарную полноту Бога, — испугаешься неоглядности этой мысли и отшатнёшься. А смерть — своя ли, чужая — непременно напомним. Матери ограждают нас, чтобы принять этот взгляд первыми, а умрут, и наступит наша очередь ждать и думать. Поначалу это страшно, а по закону-то жизни и хорошо.

Земля, как и смерть, словно узнаёт нас в лицо и напоминает об утраченном рае единства. По существу, тоска по родине (большой ли, малой) — это, наверно, и есть ощущение изгнанности из рая и влечение к восстановлению душевной целостности. А чувство предательства является оттого, что повинен-то в этом разрушении единства часто и ты сам.

Мы и впрямь отстали от Европы в прогрессе, но, странно сказать: в высшем смысле это не мучает нас, потому что при этом, слава Богу, уберегли дороже достоящуюся духовную полноту... И удалось это нам потому, что у нас первенствовала охранительная даже в безумии революции женская стихия России, стихия души, а не расчёта, не мужского первенственного ума, который так скоро подвигает прогресс, но и так скоро расточает сердце и разрушает живые ткани мира.

Давно отмечено лучшими умами (последним об этом хорошо говорил А. И. Солженицын), что национальное чувство двуедино, что в нём слиты материнское (язык, сказка, песня, предание, память) и отцовское (долг, право, государство). Религия умеет примирить их.

Я теперь думаю, что по-настоящему художник в России непременно только с той поры и художник, когда он слышит в себе всю глубину материнского и умеет написать настоящий женский образ.

Не потому ли в России так и любят художников, как жертвенных своих детей, что видят, как много греха берут они на себя, как тяжело несут они этот грех и исповедуются потом в книгах, как перед миром, со всей болью, словно в подлинно содеянном, только чтобы этого потом в самом деле не было, чтобы человека оградить.

Человек окажется слаб, а народ будет выситься неколебимо, и мы его всегда будем со всех мест в себе, в самой лучшей своей, самой родовой дальней части себя видеть полным и чистым.

Обида – чувство естественное. Она является, когда есть зазор между природой и моралью, между человеческой слабостью и общественной силой. Понять её можно, а оправдать народной совестью в себе нельзя, и чем милосерднее художник, тем жесточе и справедливее оказывается конечный его суд.

Из двух основных нынешних чувств – вины и обиды – в ломающемся нынешнем времени мы предпочли именно это, легчайшее, – чувство обиды, не требующее труда покаяния и позволяющее утоляться иллюзией поправной правоты, хотя мы все в недавнее время уклонились от осмысления происходящего со страной, «отступили для жизни».

«Нет в мире виноватых» – это, может быть, самая глубокая наша правда, потому что ищет не оправдания каждому человеку, а, напротив, таинственным образом несёт в себе утверждение, что все виноваты и потому должны быть милосердны.

В зле мы действительно только невольники, потому что злыми не рождаются: это уже нечистота мира, искажённая идеология, своя духовная неразвитость или слепота заталкивают каждого человека в свою петлю, из которой он порою уж и не знает выхода.

Я бы и сам ещё недавно счёл эти свои присматривания напрасным умствованием, натяжкой, но чем внимательнее читаю и чем больше думаю о человеке, оказавшемся в ситуации вины перед обществом, тем настойчивее мне хочется защитить человека, не дать обществу уклониться от своей части вины, отдать всё на откуп частностям психологии...

И тут поневоле ещё раз задумаешься о самом понятии «народ» – кто же хранит существо-то этого великого начала: те ли многие, кто в такой ситуации уберегли себя, или те редкие... кто падёт под безмолвным требованием высшей совести в себе и в этом падении и восстанет и сохранит эту народную совесть неколебимой?

Человек живёт, повернутый к миру малой видимой частью, а основное в себе носит незримым. И чем более «развивается» общество, тем видимого-то меньше, а незримого больше, так что от человека остаётся уж имя да должность, да та часть жизни, что за воротами не успел спрятать, о чём проговорился.

В этом и труд, и благо, и вечная необходимость художника, что он «разворачивает» как луковицу, скрывшегося в себе человека. Всех поворачивает к каждому, общество к одному, мир к личности, повторяя следом за Христом, что нет толп и стад, а есть народ и человек.

Теперь мы все идём этой, всё необратимее расходящейся дорогой, самоуверенным человеческим, отдельным от природы путём, и нам ещё есть что читать в этом как будто частном сюжете, распознавая среди прочих уроков и этот – при столкновении с эгоизмом и своеволием природа оставляет человека, и возвращение, восстановление связей оплачивается тяжкой ценой.

Со времени написания повести прошло тридцать с небольшим лет, а будто столетие минуло – так скоро выветрился и подкосился человек, так скоро оборвалась пуповина коренной жизни. Это было живо так недавно, а вот на глазах отходит в историю и уже не болит сиюминутной болью, а переживается *литературным* чувством, которым мы воспринимаем даже самые смятенные страницы повестей XIX века, ограждённые незримой, но явственной стеной навсегда другого времени, как при чтении Толстого или Тургенева. Не зря именно сейчас являются параллельные анализы Распутина и Достоевского и именно повести «Живи и помни» и «Преступления и наказания».

Когда одним только сладко, а другим только стыдно, то, значит, жизнь уже изувечилась и народ утратил ясно слышимое единство, дорогую общность судьбы.

Нравственные наши долги родному миру хоть до смертного часа отдавай, а всё равно не покроешь – так неисчислимо человечество предков каждого из

нас, кто во тьме нашей преджизни складывал духовную генетику, готовя наше рождение.

Русская словесность в творчестве Абрамова, Носова, Кондратьева, Астафьева, Шукшина, Белова, Распутина тем и отличается от сочинений художественных предшественников (хоть тех же Толстого, Достоевского, Бунина, Горького), что творчество, собственно искусство, при всей заботе о нём и высоте дара названных мастеров и тщательности отделки их произведений, есть всё-таки вторая сторона их дела. А первая, сжигающая, отнимающая все силы — непременно и прежде всего, — народная сорастворённость, чувство представительства за сверстников и предшественников.

Для того, чтобы это слово (*о родной земле и памяти — Сост.*) прорвалось, чтобы «мужик перекрестился», должен был грянуть гром. Всё дело жизни, весь порядок мира должен был оказаться под угрозой. Пока было за что держаться, пока порядок, ломаясь и мучаясь, ещё жил, и традиция, земля, совесть, живой завет дотягивались до последующих поколений, русский мужик крестьянствовал, воевал, работал на земле и находил способ передавать своё духовное ведение без посредства литературы. Когда же всё стало распадаться окончательно, велением и волей самой традиции, земли, долга пришли и необходимые выразители, чтобы с истовым послушанием, крестьянским усердием и настойчивостью назвать уходящее, открывая поражённому человеку, как велик и строителен клад, с которым глухое от прогрессивных сил общество готово проститься навсегда.

Ничего не уходит бесследно — правда подлинно в памяти. Люди могут себя забыть, а народ — не забудет. И лучшая литература тут как раз и есть народ, его памятливое сердце.

Вот мы как ещё мыслили тогда — ещё на революции, коллективизации и войны смели обижаться, подозревая (и, в общем, не напрасно подозревая), что это они медленно, исподволь выветрили нашу народную душу. А как вкусили новых переломов, как увидели «новые технологии перестройки народного сознания», так те-то прямым детством в истребительной силе по отношению к земле и крестьянству показали.

Пока развитие было естественно, название этому явлению и не было нужно (разве вода — это её химическая формула? — это вода!), человек не ведает богатства и полноты естественной жизни, как не ведает здоровья. Но когда целое оказалось под угрозой окончательного истребления, чуткие художники первыми

увидели, как с убылью этого невидного, незамечаемого богатства жизнь сразу делается скудна и невзрачна. Оказалось, что простая, снисходительно принимаемая нами нравственная коренная жизнь не только нравственно полнокровна, но и эстетически совершенна.

В памятной, отвечающей за себя России не делают литературу... не служат писателями с исправностью хорошего профессионала, а почувствовав обрыв связи с народной памятью, бьют в рельс. И чем старше и прозорливее художник, тем громче и прямее его речь, и чем неувереннее время, тем он беспокойнее.

Вот тут-то я и подхожу к тёмной мысли, которая брезжит во мне после перечитывания «Матёры». Мне кажется, что здесь писатель взошел на страшную высоту полного, безостановочного смыкания, слияния со страдающей душой народа и так окончательно совпал с духом, мыслью и смертью Матёры, что в финале оказался не с сыном Дарьи на катере, блуждающим в тумане, а там, за милосердной и гибельной его пеленой, с последними жителями деревни.

Остался человек без малой родины, жди, что останется и без большой, как себя ни заговаривай и какими благами общества не отговаривайся. А из сироты – плохой работник Отечеству.

Сколько уж раз мы осмеивали берёзку под родным окном, а она всё растёт там и всё не перестаёт быть Родиной для сердца, и как потеряешь её из виду, так и выйдешь в калеки.

Пока стоят вот так по России пустые избы, а наследников носит ветер, не может быть чувства дома, большого здорового дома, «где все имеет определенное, издавна отведенное место».

Слово «народ» вообще так многооттеночно, что его боязно употреблять: всё время рискуешь впасть в ложное обобщение и оказаться невольным клеветником.

И вот сейчас мы ещё «вяло и с оглядкой», но всё-таки хоть начинаем думать об уничтожении и начинаем поворачивать в сторону сохранения жизни, в сторону продуктивной русской мысли и национального самосознания. Русские писатели и мыслители никогда не льстили своему народу, потому что сами были

и являются этим народом и знают, сколько разных сил одновременно действуют на эту отзывчивую душу...

В последнее десятилетие перед переломом положение усугублялось ещё и тем, что всё настойчивее стал утверждаться уже не как термин, а как реальность «советский народ», и в отзывчивом сердце русского человека это размывание национального сказывалось особенно болезненно. ...Человек выпадал из колеи жизни, из национально наследованного ритма и быта (а быт в России всегда был священен...) и начинал стремительно терять национальную определённость и могучее единство, которое не надо было ни вызывать, ни подчёркивать специально.

«Последний срок» и «Прощание с Матёрой» были настойчивым напоминанием о тех принципах, которые держали мир «сами собой», и напоминанием тем более дорогим, что художник не иллюстрировал готовую мысль, а тут перед нами и изумлялся своим открытиям, почти одновременно с нами. Прямо на этих страницах и прозревал великую силу завета и быта, спасительную силу обыденности, невольного, но свободного бытового «старообрядчества» – жизни по-старому, «как мать поставила».

Чтобы увидеть полноту и правду сегодняшнего дня, его суть и логику, надо позабыть обступающие недуги, непослушание детей, скудность зарплаты, настойчивую старость, укорный взгляд начальства, протёкший на кухне потолок, то есть надо, чтобы сегодня стало невозвратно ушедшим, лишенным твёрдой и часто уродливой скорлупы, из которой не извлечёшь ядро смысла.

...Мы остаёмся в прошлом не целиком... в прошлое выпадает только духовно значимый день, в который мы если и не прибавим миру своего, то хотя бы не оскверним чужого и будем достойны охраняющего нас народного духа.

Прошлое, равно человека и народа, строится не суммой дней, а духовным прибытком, и только тогда и спасает нацию и каждого порознь, когда оно по-человечески верно *исполнено*, как приказ Высшего закона и как полнота воплощения.

...Прошлое – это не идеализированное настоящее, а исполненная воля жизни, наша спасительная кладовая, куда мы устремляемся с перепутий (а уж чего-чего, а перепутий русскому человеку отпущено с избытком, и рядом с Георгием Победоносцем в нашем гербе мог бы с полным правом, склонив

голову, стоять на развилке наших во все стороны поспевающих дорог васнецовский богатырь, выбирая, коня ли потерять, голову ли сложить – только не счастливым быть).

Природа всё не устаёт приходить к нам с ошеломляющей близостью, чтобы мы навсегда увидели, что она «не слепок, не бездушный лик» и что мы не сироты на земле, а дети какого-то таинственно великого целого, всей этой живой земли.

Художник часто пишет «наоборот», считывая с небес текст не по порядку, а так, как лучше видит душа в этот час.

Как ни ряди, а критик, предполагающий высмотреть в творчестве писателя систему, написать хоть приблизительный портрет чужой мысли, – непременно соглядатай. Он и читает часто без обычной читательской радости и забывчивого волнения, а настороженно и цепко, боясь упустить те скрытые оттенки, которые обычно держат текст, а сами норовят остаться незримыми.

Пока жизнь органична и общество стабильно, художник читает целое, пишет порядок мира в характерах и судьбах, вводя в живую реальность мудрое и равноправное население своих книг, которое в истории потом предстательствует в страстях и мыслях за ушедшую действительность, за ушедших в историю людей, во всей полноте социальной и нравственной правды.

Когда же устойчивость уходит и всё, скрытое деспотией или огороженное жестоким законом... выходит наружу, характер и сюжет оказываются художнику недостаточны. А когда к тому же его власть над умами утверждена авторитетом прежних работ, этические вехи которых расставлены для читателя с эталонной чистотой, то художник уже оказывается как бы и не вправе оставаться только художником. «Гражданин» в нём или сам выходит вперёд, или оказывается вызван читательским ожиданием и потесняет поэта: пафос долженствования вырастает над пафосом бытия – и является «Дневник писателя» Достоевского, «Не могу молчать!» Толстого, «Несвоевременные мысли» Горького, «Окаянные дни» Бунина, письма Короленко.

Художник и публицист даже в одном человеке ходят различными путями, как вера и знание.

Даже и при самой искренней помощи деревенскому человеку, если потребность не выросла в нём самом, рискуешь остаться непонятым.

В том-то всё и дело и в том-то и тревога, что мы своим милосердным, снисходительно-участливым, но посторонним вмешательством изломали деревню. В ней всё должно расти, а не насильно внедряться, органически крепиться, а не механически навязываться. Изнутри должно осознаться, а не благодетельствоваться рукастым прогрессом.

Прогресс вообще любит ходить в учёных платьях, коря противоречащих ему художников за эстетические и нравственные иллюзии, виня их едва ли не в нарочитом сдерживании народного развития. В этот час одного духовного, дарованного природой знания художнику делается мало.

Но русского человека мало убить, как говаривал Бисмарк, – и Распутин очень любит это его глубокое замечание, – его ещё надо повалить. И на это мёртвые, теснящие жизнь силы могут не надеяться. Художник перестроит силы и только увереннее возьмёт перо публициста, вложив в последующие работы и всю неутолённую силу художественного дара, всю нравственную и эмоциональную тоску по живой целостности мира, весь «пафос долженствования», придав и этой новой и невольной для себя деятельности качественную новизну и глубину, возвысив публицистику до горькой художественной философии и социальной психологии.

Среди художников нет историков для истории, для утоления любопытства, для самодостаточного знания – они приходят к этому источнику за уроком и надеждой.

...Сердцевину духа, повседневность и общую интонацию культуры народа хранят не столицы. Не гении её (они только её вершины), а вот эти разбросанные по необъятной нашей земле, вспыхивающие вдруг ревностью к культуре, к духовному устройству Кяхты и Галичи, Енисейски и Ельцы, исподволь пополняющие потом Петербург и Москву теми же Боткиными и Буниными, Сабашниковыми и Пришвиными.

Время торопится обогнать само себя, а мы родное своё наследие иногда с постыдным чувством презрения к родному торопимся позабыть, так что и не

в десятилетие, а в год иногда многое теряется невосстановимо. Не без следа даже, а как будто с обратным следом – с зиянием, язвой на месте ушедшего.

...Никто не живёт для себя, а только продолжает подготовку жизни для других, всё продолжает и продолжает, не споря ни с передними, ни с задними, и в таком неустанном подготавливании и есть искомый смысл.

К сожалению, этих людей ложной «деловой хватки» становится от десятилетия к десятилетию больше (а теперь уж они и вовсе законодательны!), и это на них стоит гибельная и губящая, доведшая страну до края смертельная экономика.

Вот этого никак не понять – как разломился народ, как разделились и в пределах одной малой земли люди на родных детей, помнящих и чтущих законы живого, и пасынков, которые ставят в красный угол пользу, хотя бы, да и чаще всего, сиюминутную. И, как это у нас чаще всего бывает, кратковременную – на день, – и готовы для её торжества опустошить родной дом.

Для правильных взаимоотношений с народом всегда было потребно нравственное мужество, которое даётся только внутренним сыновством и отцовством (в художнике эти качества должны быть слиты). Сейчас этого мужества нужно более, чем в иные десятилетия, потому что имя «народа» часто узурпируется самой дурной и агрессивной его частью, злыми и красноречивыми «архаровцами», а в лучшем случае – самодовольной ленью, растущей прослойкой разрушительно-сытого мещанства, безглаголиво равнодушного к своему минувшему, стыдящегося рода-племени, но при корыстной нужде именно себя полагающего «народом», для которого делается история и стоит мир.

Русская история действительно часто не делалась, а случалась, творческий элемент был в ней пассивен.

Когда общество становится дробно, разнонаправлено и неотчётливо в идеалах, слова как будто тоже теряют устойчивое значение, дробятся на оттенки... извлекаемые в соответствии с нравственным и социальным слухом толкователя.

Нет, подделки мысли совершаются сознательно, потому что если и говорить о национальном самосознании, о религиозной традиции и специфике этой традиции, то придётся коснуться тех настоящих глубин, которые строят любую нацию и не всегда переводятся в удобный литературно-политический словарь. Тогда придётся отвечать не перед однодневным читателем, который легко пленяется зазорной фразой и не ищет проверки (потому что эта проверка и от него потребовала бы ответственности мысли и существования), а перед народной памятью в себе, перед совестью и смертью, которые в России всегда стояли выше либеральной репутации.

Это, может быть, одна из главных бед последнего исторического периода и в особенности самых последних лет. Культура ещё не предъявляла государству своего мариолога духовно истреблённых и не по назначению использованных художественных сил. Эти потери ещё не считаны, хотя утраты всё отчётливее обнаруживают себя в нашей гуманистической запущенности.

С насильственным упразднением этой силы в России (*религии – Сост.*) её роль, сознавая всю несоизмеримость подмены, должна была взять на себя всегда сродная церкви по ответственности перед народом русская литература. Она несла это великое бремя с возможным достоинством и честью до тех пор, пока духовная инерция, даже и в самой своей смерти ещё подкреплявших нас предков, запасы энергии, нажитой не нами, не были истощены и преданы окончательно.

В критические дни, в оканчивающихся столетиях и на переломах этих столетий, интерес к религии, к церкви возвращается с периодичностью закона.

Но художник на то и художник, чтобы слышать мир «на абзац вперёд», и в пример и указание пути обращаться к духовным заветам до того, когда общество встанет перед необходимостью понять, что и ему во второй раз нельзя будет отмолчаться от своего духовно-философского наследия без риска потерять всякую связь с самым живым и перспективным в народном сознании.

У Толстого ли, у Достоевского, у Лескова, у тех, кто поближе, – у того же Астафьева, Носова, Казакова – ожесточённая неприязнь к отечественным неурядицам и родной глупости и лени могла бы дать повод сделать из них судей России, когда бы на другой странице не светила благословляющая любовь и смертная связь с этим же неудобным народом.

Раскол – это как будто метафора нашего бытия, нашего характера, нашего исторического развития, наших крайностей.

Раскол как факт религиозной истории России внешне отошёл в предание, но внутренне он длится и длится уже на уровне национально-нравственного самосознания.

Частный человек устаёт и срывается, а народ, который, может быть, и есть то, что мы зовём душою в себе, тем неприкосновенно заветным, что всегда вывозит и укрепляет нам и в тягчайшие часы, всё ещё знает выход.

Властное пьянство легко заражает народ, скоро переделывая его в толпу.

Проза живёт только при ясном понимании духовных границ, при их нерушимости для национального самосознания.

...Публицистикой человека не убедишь... человеку нужно зеркало побольше.

Публицистика даром прозаику не проходит, она изостряет зрение, но исподволь приучает к языку формулы, открытому столкновению идей, наконец, просто к немедленному и прямому выговариванию беспокоящих мыслей. До характеров ли, когда возмущённое сердце гонит к столу сию минуту? Художественная форма мнится роскошью, когда гибнет мир – напоминать ли горькую иронию Достоевского по поводу лиссабонского землетрясения и фетовского «Шёпота»?

Укорять писателя за то, что его герои кричат то же, что лучшие или худшие (в зависимости от мировоззрения читателя) газеты и телепрограммы, – значит только считать литературой что-то вообще не имеющее отношения к кипящей на улице жизни.

...Жизнь не прощает литературных рецептов и не живёт ими. Надуманный оптимизм неизбежно оказывается опаснее мужественного и в определённых условиях более перспективного пессимизма.

...Сочинённой правдой сердца не укрепишь.

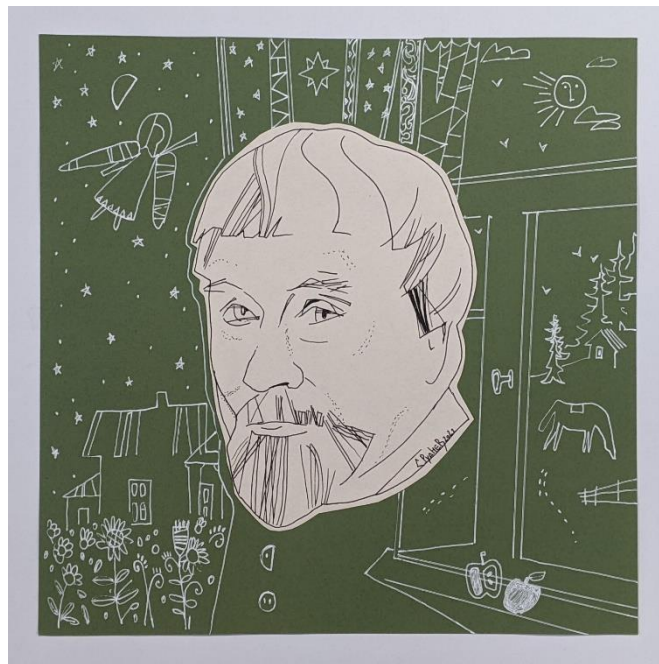
Это... Родина наша, которая тоже и мать Ивана, и дочь Ивана, впервые понимающая, как далеко теперь разведены эти Иваны, как далеко от деда до внука, которых никто, кроме неё, матери, не удержит, чтобы они совсем родство не потеряли.

Справедливость — есть дитя долгой правильной жизни в истории, дитя единства веры и народной воли.

Кто-то должен держать землю и правду, даже если ей изменят все. Остается русский писатель, который без земли и родного духа уже не вправе звать себя сыном русской литературы.

...Всегда мы чужих детей слышали лучше, чем своих...

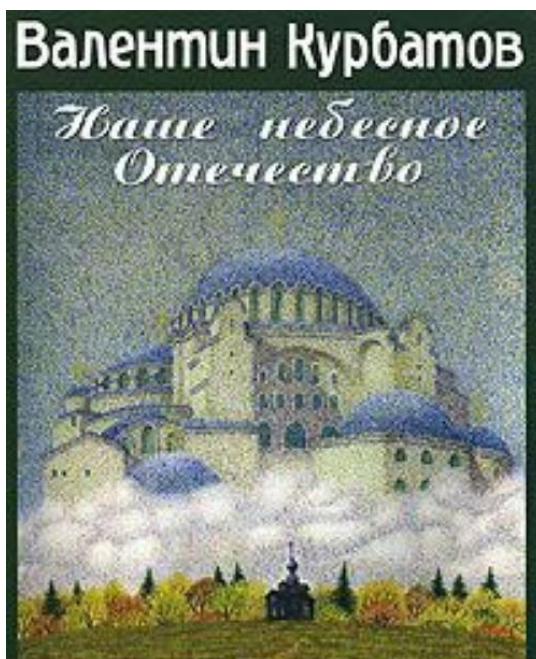
...Надобно мужество оставлять героя на пороге потерянности, не придумывая выхода там, где его не видишь, всё-таки в самой глубине сердца тоже мечусь в поисках света. И не удовлетворяюсь своим утешением, что всякая правда свет и победа.



портрет Валентина Курбатова (художник Сергей Руднев)
Дар Кабинету Курбатова

Курбатов Валентин Яковлевич

Наше небесное Отечество : записки православного путешественника / Курбатов Валентин Яковлевич / Валентин Курбатов. - Иркутск : издатель Сапронов, 2007. - 263 с. - На авантитуле: Этим летом в Иркутске. Литературные вечера -ISBN 978-5-94535-80-9



Сегодняшняя ситуация после без малого девяноста лет изгнания христианства из общественного сознания представляет нам, как ни странно это прозвучит, счастливую возможность снова «выбрать христианство», но уже во всеоружии мужественного, не противящегося вере знания, открытого избрания, взвешенного понимания.

Нам выпадает возможность «креститься» не волею князя Владимира, а принять крещение «самим», во всей полноте радостной и грозной ответственности. И ещё более счастливая возможность, которой не было у наших отцов, – увидеть колыбельные земли христианства, плоть земли, из которой выросли спасительные плоды нашей веры.

Дороги истории долги, и на них может не хватить жизни, но все они, если чувствовать их верно и выходить с зоркой душой, ведут нас к себе, к своему Господню образу.

Мы выходим в наше небесное Отечество, чтобы вернуться к преображённому земному.

В «реке времён» не будет слышаться отчаяния, только если мы однажды догадаемся, что вечность не бездонная яма, пожирающая несчётные поколения, а Божий день, полный света.

Закономерна только сама жизнь, а не события в ней.

...Церковь – это вы вместе, и если в тебе сердце молчит, то в этот час оно говорит в другом, и он братски покрывает тебя своим небом, как в другой час ты покрываешь его молчание своим.

Храм по-настоящему – это всегда путь, и каждый день он ведёт кого-то светлой дорогой, которой уходил в небеса со своим спутником булгаковский Мастер, или просто поднимает с колен негнущееся сердце гордого, и это краткое движение оказывается длиннее иных многолетних путей.

...Внешне случайная поездка обнаружит свою закономерность. Во всяком случае для моего христианского сознания, и в очередной раз напомним, что чудо ходит в одеждах повседневности и здравого смысла.

...Церковь Христова не соревнуется с предшественниками, а зовёт иное небо и иную землю.

В Никее как ещё вздрагивает сердце при виде такой же по-человечески, «по-русски» родной Софии, где на Первом Соборе начинал складываться Символ веры, а на последнем нам возвращалась икона.

...Вот какое православие мы принимали! Эту строгую мерность, эту возвышенную ясность и чистоту, эту царственную гармонию...

Сколько мы бились в 60-е годы, носясь от храма к храму и возбуждая воображение, чтобы вернуть себе утраченное чувство целого, снова стать русской полнотой, сколько поусердствовали в реставрации, но оглохшие без молитвы стены всё оставались камнем и не спасали наше просвещённое, но не освящённое сердце.

...Ты оказываешься там, где твоя душа давно бывала в молитве или предании, и понимаешь, что перемена места, может быть, не приближает к Богу, но она приближает тебя к живой истории Церкви, к «плоти» веры, к её человеческой полноте.

И неожиданно откроется в евангельской фразе, что «Слово стало плотью и обитало с нами», ещё и тот смысл, что не только Господне слово, а и слово учения, слово предания тоже было плотью и складывалось в истории и подлинно «обитало с нами» в здоровой, человечески простой бедной жизни. И это неожиданно потрясёт тебя и опять подтвердит душе, что, значит, ты приехал именно тогда, когда надо было приехать, и в этом есть ещё одно проявление Господней любви к тебе, Его неисчерпаемой благодати. И, значит, ты всё-таки приближаешься к Нему.

Путь вверх иногда почти невозможен для «зачитавшегося» человека без пути вниз – к Богу через культуру.

...Во всякой дороге есть свой урок...

Здесь (*в Турции – Сост.*) это чувствуешь с особенной остротой и, кажется, глубже, чем где-либо, понимаешь, как важно в дни ослабленной веры приходить к источникам, в которых кипит живая горячая вода магически становящегося мира. Совершенные Греция и Рим на Западе и библейская ассирийско-вавилонская культура на Востоке соседствуют тут в пределах одной страны, являя прекрасную лабораторию, огромный, накрытый небесами музей человеческого духа и высшей религии в её зарождении, могучем развитии, усталости и напряжённой внутренней жизни, ожидающей нашего внимания для того, чтобы почувствовать живые основания вечности.

Всему приходит конец, но только не благодарной человеческой памяти и молитве.

Поколения должны расти из живой почвы праотцев, как единственной лестницы, по которой человек в конце концов поднимется к небу.

Пыль только плоть времени, и песочные часы неожиданно предстанут самым зримым и печальным образом вечности, ибо пересыпающийся в них песок – это и есть давние колонны и архитравы, фронтоны и акротерии.

И эти небеса и звёзды, сухие виноградники и горячие плоскогорья, бедные селенья и царственные руины тоже входят в пространство истории, в слово храмового богослужения и домашней молитвы.

Для любопытства дерзнёшь подняться в келью в главе столпа, где коротал дни, молился в сухости дня и холоде ночи тот, кто загораживал тебя, растил твою веру из негодного, изломанного своеволием материала. Намаешься, пока лезешь по песчаному колодцу, где приходится опираться плечами в обе стены и где не за что ухватиться руками, и, может быть, догадаешься, что это он и от тебя загораживался, от твоего пустого любопытства. И себе поблажки не давал, чтобы лишний раз не спускаться на землю, как, видно, делал и Симеон Столпник, которого ведь начальное предание тоже выводит отсюда с высоты два метра до столпа в семь, на котором он провёл сорок семь лет.

...Мы всё ещё дети в вере и властвует над нами не она, а политика и животное чувство природы, которая всё вершит свой злой закон, ожидая нашего пробуждения.

Иногда для отрезвления нужны сильные средства, и в чужом зеркале они только зримее и действеннее.

Снова тебе дано догадаться, что Истина одна, и в конце дороги мы должны встретиться у единого престола, а не у небесного отражения земной карты, где мусульмане неуступчиво граничат с буддистами, те с иудаистами, а иудаисты с христианами.

Религиозная терпимость – есть только начало пути, но не весь путь, ибо в основе её лежит недоверие к Истине или равнодушие к ней.

Бедная великая история и здесь, как везде, приручается для потребительских нужд мелеющего времени. Здешний (*в Тарсе – Сост.*) водопад, в водах которого простудился в своём донашеэрном далёке великий Александр, выковывая характер (тоже, видите, не миновал этого бессмертного города), оккупирован

ресторанчиками. Гремевший в прошлом году белой яростной лавиной, в это лето он почти пересох, и величие читается только в диком, обдирающем взгляд, выбитом гневной водой русле.

Мы так много говорим о культуре, насоздавали в мире море защитных организаций, убеждающих человека, что чужой культуры не бывает, что вся она — дитя благодарности Богу, каменная, словесная, живописная молитва и славословие. А вот уходят в землю километры великих развалин, затягивается пылью и травой история хеттской, персидской, эллинской, римской цивилизаций, и некому не то, что прочитать, а хоть смахнуть пыль с этой «книги» и до времени поставить её «на полку».

Человечество всё не осознаёт себя семьёй, где каждый ребёнок свой.

Культура умирает от невнимания к ней больше, чем от прямого уничтожения.

Ты можешь не видеть её [историю], но она видит тебя и указывает тебе подобающее, достойное твоего духовного роста место и рано или поздно будит для правильного миропонимания.

Христианство вообще есть непрерывное движение, становление, диалог с недремлющей философией, а не самодовольство готовых ответов, иначе из веры сильных оно становится религией немощных.

...Дело человечества литургия, общее делание перед Богом...

Оказалось, что это не мы открыли памятник (*Николаю Чудотворцу в Мирах Ликийских — Сост.*), а он открыл нас, стал нашим путеводным указанием, чтобы нам быть начеку, лучше слышать глубину своего сердца и понимать, что христианская история это не то, что было, а то, что вечно есть и что только ждёт нашей готовности выйти на дорогу этого есть и уже не останавливаться...

Мы все уезжаем в чужую страну из своего времени и привозим с собой всю суету, часто оскорбляя руины празднословием и надменностью живых перед мертвыми. Но возвращаемся мы все-таки немного другими, узнавшими если не всю тайну времени, то его настоящую длительность. Возвращаемся, словно

коснувшись тени древа жизни, побыв на минуту в этой тени, где нет вчера и завтра, нет человеческих границ, а есть таинственное чувство сверстничества со всеми событиями мира, словно ты сам их отец и сын и внук, и они приручены твоим сердцем и являются частью тебя и только в тебе и живут. На одной из дорог ты непременно догадаешься, что все, что случилось в мире, – случилось с тобой и ради тебя, и живо только в тебе. Этим чувством нельзя жить долго, но, однажды коснувшись его, уже не вернешься в оставленный день, потому что над ним будет Господня рука, короткое касание вечности, которое просветит этот день вечностью и покажет его настоящую длительность, потому что этот день стоит навсегда. И все рождения и смерти цивилизаций короче одной человеческой жизни, короче одного правильно понятого дня, которому нет конца.

...Конец мира – это или затмение нашего разума, не увидевшего колыбели вечности, для которой нас надо разбудить силой. Или общее радостное сотворчество с Богом и вечная радость, оправдывающая собой и воскрешающая всех мертвецов, кто в слепоте слишком тесного времени, в страдании или эгоизме дня не успел узнать навсегда освободившей нас Истины христианства.

Когда долго живёшь, понемногу начинаешь понимать, что всякий день тебе урок и школа. И у неё своя система. Раньше времени ничего не узнаешь. Вырасти надо для понимания.

...*Правда растёт* в человеке вместе с верой и открывается по мере мужания души, не вредя ей, а только укрепляя и вооружая её, готовя к прозрению трезвых и ясных путей и самой души, и человеческой истории.

Увы, человечество льстит себе в мирных историях, создавая институт неприкосновенности в храмах – в тени Красного Креста и Красного Полумесяца, но без трепета и страха Господня нарушает свои установления при первых залпах пушек.

Оказывается, для полёта совсем не надобны крыла, а только вот это сияние духа. Он, верно, так и возносился в свой час – объятием и покровом, увлекаая апостолов, как здесь увлекает с собой наших первородителей – сила и радость!

И как ни лестно для нас было утверждение сербского писателя Милорада Павича, что по окончании строительства мечети её архитектор, слишком долго

проведший за выведыванием тайны Софии, проснулся христианином, увы, это был только постмодернистский текст. Голубая мечеть не похитила тайны нашей Софии. И когда мы потом подошли к ней, обесчещенной минаретами, загороженной страшными контрфорсами и пристройками, она глядела со спокойной прямоотой, и голос её был чист и ясен. Она была внешне в сто раз тяжелее мечети, но чудо её оставалось нетронутым. Она и в чужом и бедном платье была царица перед сверкающей, но ряженой соперницей.

И с горечью видишь, что тянутся на службу больше старые гречанки, спокойные интеллигентные матроны хороших семейств – ни одной из наших «баушек». Мужчин мало, молодых лиц почти нет. Как у нас бывало – пока мужчины суетятся в истории, бегают убивают, создают партии, женщины удерживают церковь, терпеливо ожидая, пока мужчины набегаются и вспомнят небо и двинут дальше ереси и высокое богословие.

...Не один враг расшатывает дорогие стены великих храмов, а и своя исподволь накапливающаяся человеческая слабость.

А только в истории нет случайных текстов – дойдёт разум и до этого.

...Когда мы узнаем о своей истории всё, земля вздохнёт от печали и начнёт жить иначе.

...Величие определяется не высотой стен, а крепостью духа.

И скоро останется только вот это – девять уровней урбанизации, где один город растёт из другого и поглощает его, чтобы быть поглощенным следующим. Как хоронят на старых кладбищах. Или, как когда-то меня поразило самое старое пещерное кладбище в Печерском монастыре, когда колодцы XVIII века проваливались в колодцы XVII, те наполовину обращались в землю в XVI, пока, наконец, к XV всё не делалось пылью под ногами. И ты стоял, со смятением понимая, что эта земля – прах твоих предков, и словно впервые слышал слова панихиды «Земля еси и в землю отыдеши, аможе еси человецы пойдём...»

...Старые книги, как древние камни, нельзя сдвигать со своих мест – разрушается живое целое.

История живее и убедительнее там, где она написана, а не в изгнании, хотя бы и почётном.

И всё едет с тобой, и день ото дня делается навязчивее вопрос: как они сопрягаются – пламень веры и покой обычного вечера, императорское желание счастья своему народу и скормливание христиан львам.

Ничего в Божьем мире не бывает напрасно и враждебно небу, если только не делается с вызовом ему.

...Трещина, расколовшая великие стены акрополей и колизеев, поднебесных аполлонов и артемид, была проточена именно любовью, молитвой и слезами апостолов. Великие, ставленные на века святилища не могли пасть сами по себе. Кажется, об ответе догадался ещё Юлиан Отступник, увидев, что его дело не торопится торжествовать, хотя он звал народ к радости весёлого язычества на месте печального христианства. Он догадался о силе и правде бедности, которая побеждает величавые замыслы. Люди ещё строили храмы до небес, но после Христа они уже не чувствовали их своими. Это уже были чужие боги и чужое величие. Когда Христос возвратил бедности достоинство, дни этих храмов были сочтены. Они пали именно жертвой своего величия. Их подавляющая красота подавляла не метафорически. Ты всё время чувствуешь себя в них слишком маленьким, уязвлённым этим величием, тебе всё время хочется разогнуться. И когда появляется возможность «отомстить» за свою долгую малость, они сносятся без сожаления.

Гражданин империи может гордиться великими храмами зевсов и афин, мощными крепостями и роскошными театрами, блестящими ипподромами и торговыми агорами, но они не его. Они не проросли в сердце, и когда на смену блестящей имперской вечности придёт частное время, они не утешат его в печали и не укрепят в сомнении. Они могут вызвать слёзы восхищения, но не разделят слёз страдания. Они – часть речи, а человек – дитя Слова. Надо было пройти эту гордую, прекрасную дорогу истории, чтобы понять это и теперь навсегда выбрать дорогу бесконечного неба.

Переписчик, как иконописец – послушник небезупречный. Художник в нём иногда просит своего слова. И, если это не своеволие, а Господне прозрение, он радостен Богу более прямого следования прежней правде. Он не сохранил, он преумножил данный ему талант.

Предание человечнее и вернее истории. Оно поверяется не ею, а любящим сердцем.

Море ещё раз-другой выглянуло из-за нескольких поворотов, и дорога ушла в уже привычные поля и всё ненаглядные оливковые рощи, чтобы к вечеру привести нас к Никейскому озеру – безмолвному, отражающему в своём сверкающем зеркале одинокую лодку с китайски тщательным силуэтом рыбаков на закатном небе, всякую чайку в полёте и инверсионный след самолёта. И в воде мир казался реальнее, чем на берегах, как левитановский пейзаж бывает правдивее самой природы.

...Премудрость Божия не всегда утешна и не всегда является в блеске победы. Но и в слабости и сомнении она всё остаётся премудростью и голосом Истины.

Дорога ведёт вниз, если она не идёт вверх. Ровного пути уже не будет. Он не ведёт, а кружит в потреблении или вражде, в основе которой, в конце концов, тоже потребление и желание пожить по своей воле, как в разбежавшихся славянских народах, продолжающих звать себя христианами.

Мир делает свою работу, исподволь опустошает слова, которыми вовеки стояла душа. Да и саму душу потихоньку ссылает в пустой лирический словарь, в резервацию музейного благочестия.

Мы перестали бояться Божьего гнева и даже, страшая друг друга концом мира, про себя уверены, что это не более чем поэтический образ, что мы-то, во всяком случае, ещё поживём. И поживём без усилия, которого требует Христос и которого требовал идущий Его дорогой Святитель. Мы и церковь готовы сделать местом потребления, духовной «поликлиникой», записываясь в зависимости от потребности к разным «врачам» и определив каждого по своим «кабинетам» – от слепоты, от глухоты, от сглаза... Забыв «единое на потребу» для нечаянного детского многобожия.

Это усталость неизбежная и естественная, но потакать ей грех.

История сама строит свои сюжеты, сама знает, когда приходит время собирать, а когда разбрасывать камни. И, в конце концов, останавливается на справедливом варианте.

Что можно унести с собой в один день из двухтысячелетней истории? Только своё вчера и сегодня. Добро заберёт пришедший сюда новый человек, а память возьмёт земля.

Человечество повзрослело, узнав Бога, но оно уже не могло и не должно было забывать своё детство, как не может забыть его любой из нас, ибо оно не отменяется, а только сменяется взрослостью, а там и старостью. Мы, словно матрёшки, содержит в себе все возрасты. И можем покаяться в неразумии детства или беспамятстве юности, но не можем сделать их не бывшими.

...Античность не заблуждение, не злое язычество, подлежащее истреблению, а только человеческое утро, резвая младость, остаться в которой значит в безумии пытаться остановить время.

...Красота – родная сестра Истины и условие её понимания.

Но мир живёт и держится не циклопической гордостью, которая тешит одно эстетическое чувство, а святой, теряющей стены, но не теряющей силы бедностью и любовью.

...Человечество всё не хочет услышать, что оно – семья, дети одного Бога.

Бывают мгновения, когда ты не знаешь, как реагировать. Задохнёшься и ждёшь, пока смятение пройдёт, и ты вздохнёшь и кинешься к кому-то (хорошо, чтобы в такое мгновение этот кто-то был рядом), чтобы разделить это смятение и восторг, потому что один ты его не выдержишь.

Счастье не кричит о себе и не осознаёт себя таковым, но со стороны ты видишь только его – простое чудо повседневной жизни, где всё на месте, где нет «сквозняков» и «ветров перемен», где всё стоит, как сто лет назад, и человек знает своё место в мире и что на его место никто не посягнёт: живи, работай, радуйся плодам своих трудов, своему Богу.

Только смотри, не бойся противоречия самому себе и не торопись с заключениями! И тогда откроется, что каждая земля – есть урок если не для самой себя, то для другого народа. И каждая история (и самая древняя и далёкая)

происходит для тебя сегодняшнего, чтобы ты понял, что уроки её просты и отличаются только платьем, на самом деле они всё время одни и те же. Они открываются не сразу, потому что мы ещё долго носим на сетчатке глаза привычный мир, но раз от разу, город от города, судьба от судьбы ты видишь если не лучше, но правильное для твоей души, которая всегда видит лучше ума.

И опять повторяешь, как впервые, то, что знал разумом, а теперь навсегда усваиваешь сердцем, – что не надо обольщаться величием. И, страшно вымолвить для гордого русского слуха, – не надо искать империи, потому что все империи после Христа напрасны.

Когда видишь пустыню на месте родины своей веры, лучше понимаешь, что устоять можно, только не повторив её соблазнов, не поверив покою и обманчивому торжеству нынешнего христианства, ибо ты успел по этим камням понять, что торжество – первый шаг к поражению.

На величие камня... можно ответить только величию духа, иначе они раздавят тебя.

А величие духа... не в пурпуре императоров, не в порфире и золоте храмов, а в том, чтобы услышать Христово «возьми крест свой и иди» и не свернуть с этой дороги.

Двери рая всё не закрыты. Они только завалены камнями цивилизаций и ждут наших усилий.



Фото Валентина Курбатова из мультимедийного архива, переданного в дар кабинету Курбатова режиссёром, заслуженным деятелем искусств РФ, другом критика Вячеславом Ореховым

Курбатов Валентин Яковлевич

Восхождение к истокам : альбом-путешествие / Курбатов Валентин Яковлевич , Царев Борис Иванович - М. : Синергия, 2004. - 431 с. : ил. - 1 CD-ROM -(Библиотека паломника).



Как всё-таки притуплено в нас чувство живой истории! То ли от школьной беспечности, с которой мы пролистываем века, не успевая побледнеть от ужаса задевающей нас вечности, то ли от неумения поверить, что твоё книжное знание когда-то было простой повседневностью.

...Перед живыми камнями высокой древности сердце словно медленно вспоминает себя, древнее течение рода в крови (ведь мы все в минувшем бесконечны, как расширяющаяся галактика, и все одинаково древни по роду, как дети Адама и Евы).

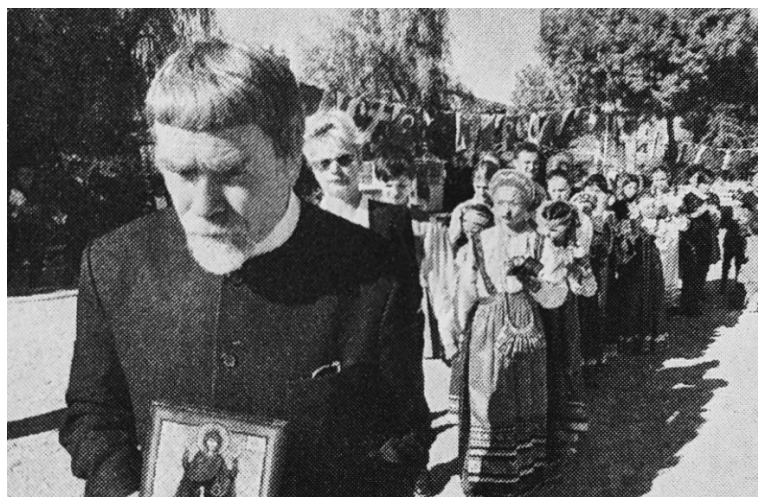
Мы понимаем, что христианство — это постоянная память о грозной ответственности, которая настигает расслабленного человека. Это непрерывное бодрствование. Это военное стояние каждый день, которое и есть главный урок...

И будет всегда ясно, что Церковь – это не прошедшее, а всегда матерински ожидающее человека впереди будущее. И что позади у нас не лета жизни, а вековая история, каждое событие которой было направлено к тому, чтобы сложить именно нашу единственную бессмертную душу.

Мы вспоминаем имена наших святых по русским храмам в годовом круге служения как наших наставников, не очень задумываясь о землях и истории, их породивших, но в паломничестве они обступят нас в каждом городе, напоминая нам о наших ангелах и молитвенниках. И мы поймём, что и здесь – в Эфесе, Приене, Смирне, Траллах, Олимпосе – мы дома, в святой семье православного Небесного Отечества, и в каждом камне услышим оклик любви, а в каждом осколке мозаики или выветренном лице фрески – предвестие иконы, высокого образа, в котором за столетия сложился светлый и мужественный эталон человеческого поведения и с которым сходится чувство трагизма человеческого существования и, как зерно в земле, таящееся чудо преображения и восстание к истинной и непреходящей жизни.

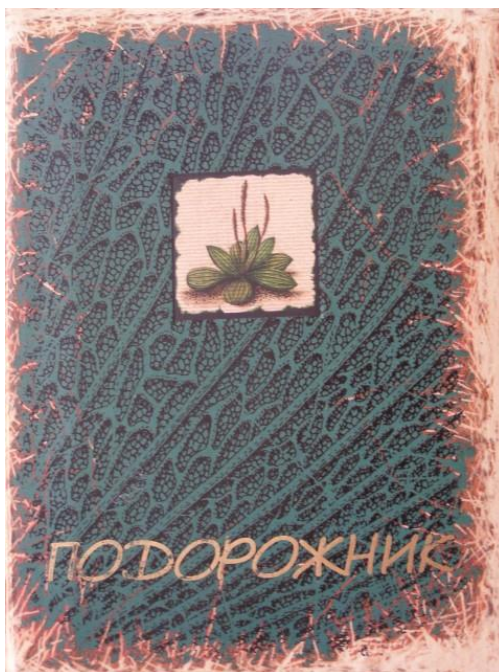
Мы не можем назвать и представить всех святых мучеников и исповедников этой земли, потому что они часто уходят безымянными, и святцы с печалью и смущением пишут «и проч.», и «и другие с ними». Но подлинно не было земли и города, которые не стояли бы на кровавом камне мученичества, и потому, не зная святых ликов ушедших, мы показываем их землю, их дом молитвы и общие изображения, ибо в подвиге и страдании они похожи на тех, кого мы знаем, ибо все они дети Божьи, и мы молимся, как всегда Русская Церковь молится на литии за ведомых и безымянных – «имена же их Ты, Господи, веси...»

Всякое паломничество – есть свидетельство голода и тревоги души, её беспокойства пробуждающейся ответственности за прошедшее.



Курбатов Валентин Яковлевич

Подорожник : Встречи в пути, или Нечаянная история литературы в автографах попутчиков / Курбатов Валентин Яковлевич / Валентин Курбатов ; [предисл. В. Г. Распутина ; худож. Сергей Элоян]. - Иркутск : издатель Сапронов, 2004. - 350 с. : ил. -ISBN 5-94535-047-8



О Павле Антокольском.

Он был поэт, актер, художник и был прекрасен, горяч, нетерпелив, счастлив, несчастлив, юн и стар, каким бывает влюбленный поэт в без малого восемьдесят лет.

Не зря я иногда чувствую, что мне два века.

О Семёне Гейченко.

...Он тут жил и входил в пушкинский век опять по своему обыкновению не с одного книжного крыльца, а из всей полноты здешнего мира...

Ученый со своим вечным «почему»...

Михайловское было домом Пушкина именно потому, что оно было домом Гейченко...

О Семёне Гейченко.

...Хранитель был не слугой, а товарищем поэта, его «домовым», ангелом-хранителем.

Может быть, здесь жил теперь не тот Пушкин, но разве Пушкин один?

Долгий опыт любой жизни говорит, что в каждом человеке сто человек...

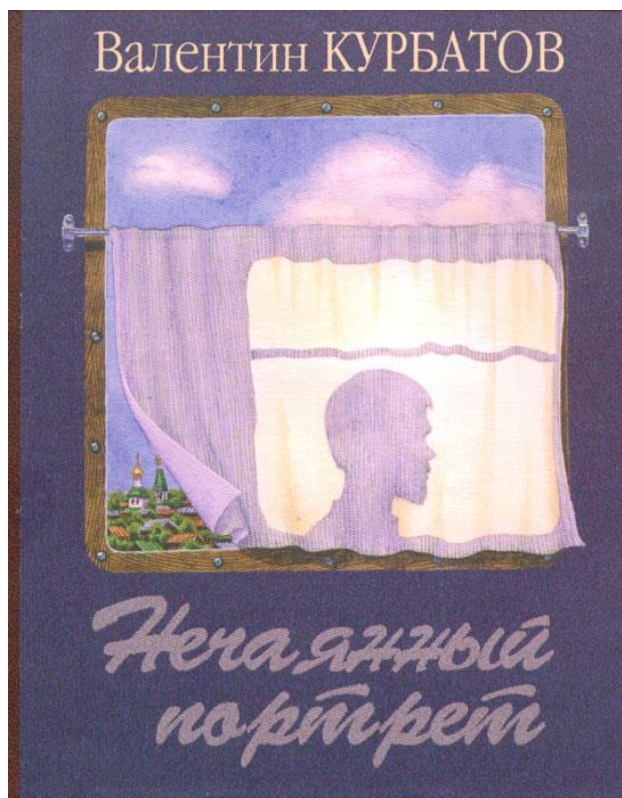
...Кто сам владел редким, оказывается, в человечестве искусством жить, которое дается не всякому, а лишь тем, кто умножает радость мира.

Мы теперь скорее знаем чувства, чем переживаем их.



Курбатов Валентин Яковлевич

Нечаянный портрет. Время в зеркале одного дневника / Курбатов Валентин Яковлевич / Валентин Курбатов. - Иркутск : издатель Сапронов, 2009. - 430, [1] с. : ил. - Издания с инвентарными номерами №№ 3157В, 1584635 с дарственной надписью автора -ISBN 978-5-94535-111-0



Пауки перебрасывают через дорогу лёгкие нити, но добычей их становятся только машины, да изредка порвёт эту незримую серебряную ленточку человек и долго снимает паутину с лица, будто умывается. Утка разнимает утят, как рефери на ринге, строго прикрикивая «брэкк»! Зяблик ещё с ночи не свистит, а рюмит, суля дождь. И скоро листва взъерошивается перед грозой, потом вздрагивают и трепещут кусты и наконец безмолвно вскипают травы...

День синел, сверкал, ликовал. Под проточенным льдом к Сороти торопились ручьи. Белые матовые монеты воздуха текли подо льдом в каком-то одушевлённом порядке. Вороны, атласно, тускло сверкая, летели над полем, и когда пролетали над головой, воздух от крыльев был как вздох или как внезапный громкий шёпот. Вороны садились на тонкий лёд и, пробив его, деловито пили, поглядывая по сторонам. Скворцы были черны, изумрудны, молоды – совсем не те запылённые, усталые, постаревшие, какими будут осенью. Уже готовился очередной Пушкинский праздник.

Со слов Семёна Гейченко:

– В 1939 году на Ворониче закрывали церковь. Я приехал от Пушкинского дома. Увёз только регистрационные книги попа Шкоды, а в углу – никогда не забуду – битком до потолка поминания «во здравие» и «за упокой»: и кожаные, и тряпочные, и бумажные. С XVIII века, с суворовских походов. Сколько тут, в этих поминаниях, было павших, болящих, живых, стоявших здесь в Троицкую родительскую субботу. Это и был народ, и чувство народа, и ответ перед ним, и сознание непрерывности жизни.

Дождь такой, что кажется, дом поднимется и вот-вот всплывёт. И это ощущение всплытия так осязательно, что и тело уже не уверено – на земле ли? Ливень валит, нарастая, и это крещендо усиливает ужас. Надо закрыть окно. Дом сразу делается беззащитнее и уносится ливнем в грозное небо. Не оттого ли это неожиданное «мистическое» не то воспоминание, не то давно придуманное, да не рассказанное сочинение...

Липа гудит, как телеграфный столб. Вот-вот она зацветёт, и в ней кипят пчёлы. Под солнцем она кажется вспотевшей, и, если лизнуть влажные листья, они пьянят нежной сладостью мёда. Кажется, этот мёд называется «падевый». Прошлый год, когда липа ещё простирала ветви над садовой звонницей, этот мёд капал и с колоколов.

Потом-то ты понимаешь, зачем тебе нужен дневник. Ты черпаешь из него, как из диктофонной записи, но только уже вернее, уже пропустив существо разговора через сердце и понимание. Уже без сора, без той обманчивой «правды», которая так мучает в прямых записях, когда собеседник (особенно плохо, если журналист) пытается якобы сохранить живую интонацию и тем только «подставляет» бедного героя, потому что устная и письменная речь вовек не сойдутся.

Вот и тут я изо всех сил пытался запомнить тон беседы, стержень сюжета. И временами (грешно сказать) почти торопился из-за стола, чтобы записать услышанное, потому что знал, что через минуту будет рождён новый сюжет, ещё ослепительнее первого. Этот тип собеседников уходит на глазах. Они – дети беседы, её счастливой красоты, её ускользающей паутинности. Таков был Виктор Петрович Астафьев, таков был великий директор Пушкинского заповедника в Михайловском Семён Степанович Гейченко. Он мог быть паровозным гудком, дворцовым истопником (даже дровами этого истопника, потому что в живом рассказе мог «упасть» перед печкой с осиновым или берёзовым стуком – он знал, чем они отличаются), мог выйти к вам камергером, часовым, поваром, императрицей, и вы сразу оказывались в середине дворцовой жизни. И каким страданием были часы записи, потому что передразни-ка, как он, государя,

доживающую старуху, февральскую метель или бутылку столетнего квасу. А он умел!

Сидим в Ниде на берегу Куршского залива. Вечер. Залив уходит в небо без паузы горизонта, так что рыбакащие на молу дети кажутся сидящими на краю небосвода. Пара лебедей мощно и длинно, низко и сильно, долго и упруго летит над самой водой так близко, что их можно окликнуть шёпотом.

Дождь с утра – говорят, к счастью, при дороге-то! Но мелкий холодный. Пока дошёл до Киноцентра, промок. А у центра-то никого. А времени без пяти десять. И вспомнил, что говорили-то про Дом кино, а не Киноцентр. И – эх, полетел! По дождику-то! Слава богу, что от Краснопресненской до Белорусской одна остановка метро. А уж оттуда петушком-петушком и уж в десять минут одиннадцатого у Дома кино, где, как и следовало ожидать, никто никуда не тропился.

В храме всё не могу наглядеться на эти ветви в руках, украшенные двумя-тремя цветками – так нарядно. Архиерей в чудной зелёной ризе, в зелёной митре, среди молодых берёз у алтаря, в мерцании золота резьбы, в солнце – подлинно сошествие Св. Духа. И совсем бы хорошо, если бы не ревнивые взгляды в очереди к исповеди коллег по фестивалю – будто это у них настоящая исповедь, а ты фарисей. Однако так и не исповедался. Батюшка вдруг сказал несколько общих слов, оставил Крест и Евангелие и был таков – прикладывайтесь и причащайтесь. Нет уж, без разрешительной молитвы не пойду.

Троица! Пошёл пешком, утро уже грело на солнце вовсю, но в тени ещё свежо и молодо, ручьиисто. На Конёнковском спуске пылает сирень, облака высокие над собором. Соловей перекрикивает трамваи и грузовики скрытой за деревьями дороги. И таков молодец, что подозреваешь в нём курянина, приехавшего на гастроли – здешние соловьи пониже. Поднялся к собору в коридоре нищих (чаще женщин с детьми), а тут продают явор (аир болотный) как пальмовые ветви. И у всех, у всех – эти наши болотные пальмы. И продавщицы соблазняют, что они стоят год и хорошо пахнут. Вошёл в храм, и там весь пол в этих ветвях.

До службы было время, спустился к улице Зелёный Ручей (а рядом улица Красный Ручей) – тепло, все копошатся в своих огородах – покой поднебесный, зяблики, воробьи надрываются, сирени, боярышник одуряюще пахнут. И уже печёт, как в полдень.

С утра дождь всё идёт – не то вчерашний, не то нынешний.

Как всё-таки долги дни! Уж вот к вечеру не можешь вспомнить начала.

Храм уходил в поднебесную высь, мерцал золотом резьбы, сиял золотой сенью в алтаре, мглисто светил образами. Владыка Кирилл в слепящих одеждах служил чисто и высоко. Перед причастием вышли дети, школьники без числа, чтобы отметить причастием окончание класса, день Кирилла и Мефодия, новую ступеньку возраста. И пока собирался крестный ход, всё глядел на овраг, со всех сторон обступающий собор, всё слушал соловьёв и вездесущих зябликов, которые кричат громче слетевшихся со всего города мальчишек. В 12.00 вышли дети, солдаты, семинарский хор, священство, мы, грешные, разный здешний люд – на километр река. Весёлая монахиня всё взмахивает рукавом рясы и зажигает тропарь Вознесению. Когда проходим под соборной аркой с накрывающей акустикой, весёлый высокий семинарист вдруг заливается голосом в ликующие верха – услышать себя, рассмешить всех, регент грозит ему кулаком и смеётся.

Но сад, сад! Слива уже крупная, вишня поспевает, картошка уже отцветает, грецкие орехи наливаются, плавни с рыбой под боком – тут не умрёшь и другому умереть не дашь, и учительницы-то они учительницы и клубные директора, а землю не забывают и всё на ней правят как следует.

Перед армией я чуть не поступил в Институт кинематографии. Сам «сошёл с дистанции» на творческих конкурсах. После первого тура вдруг смалодушничал и забрал документы. Ну, а уж после флота догнал и, правда, не актёрский, как некогда мечталось, а киноведческий факультет закончил. Ну, и на первых порах писал о кино, водил какие-то кинематографические знакомства, отчего нет-нет и оказывался в гостях кинофестивалей.

На «Золотом витязе» у меня была несколько странная обязанность: фестиваль писал на знамени Православие, но собирал и католиков, и протестантов, потому что был международен и поневоле межконфессионален. И значит, нужны были диалоги для выработки общих духовных путей в искусстве кино. Ну, а поскольку я жил в Пскове и был близок церкви, то, значит, и мог пригодиться. И на трёх фестивалях пригождался, пока не устал, потому что кинематограф славянских и православных народов (а фестиваль создал кинообъединение с таким именем и такой платформой) расходился внутри, как расходились и сами народы. И диалоги сделались формальны и малопродуктивны.

А может, это просто моих сил и терпения не хватило. Но дневники остались, и теперь я вспоминаю те давние дни с благодарностью. И порой жалею, что ушёл из «диалогов», потому что они при ослабленности связей между народами, может, как раз и были особенно необходимы. И глядишь, формальность однажды

преодолелась бы живым светом. Но как кончилось, так кончилось. Обернёмся с любовью.

Мороз уже за 10 градусов. Но день высокий, солнечный. Ездил прощался с Байкалом. И не мог уехать от него – такая синева. Монету мою в воде видно за десять метров. И ранетки во всех палисадниках. И какая-то спокойная дельность. Другой мир. Вечером, уже под звёздами, мимо замёрзших прудов, на которых мальчишки уже гоняют на коньках, – на свою станцию. Култучка шумит, мужики жгут костёр в ожидании электрички. Подошёл парень, ходивший за шишкой, долго ругал истребителей тайги и Байкала, потом подошёл старик, похвастался, что поезд сегодня ведёт его внук. «Ну, – сказал парень, – значит доедем с ветерком». И действительно доехали скоро и хорошо. В Иркутске уже за 15 градусов – пробирает с отвычки до костей.

Всё смешалось – любовь к отдельному бедующему человеку и ненависть к слишком терпеливому и слепому народу. Нежность к ненаглядной земле где-нибудь у совхоза «Урожайный», где снежная гречиха соседствует с лиловой чернотой пара, где золотые чистые хлеба без края пересекаются неистойвой желтизной подсолнечных полей или глубокой зеленью коноплей, сменяется ненавистью к увечной земле городов, курятникам дач. Всё без промежутка: любовь к отдельным редакторам, критикам: Смирновой, Макарову, Рождественской – с ненавистью к целым союзам, благодарность семинарам со злостью к пьянству секретарских выездов.

Всё не даёт мне покоя это неслышание, когда он перебивает на полуфразе своим и из чужого ухватывает только что-то нужное себе и выхватывает как своё, неавторское, будто ты для него та же природная материя. И это не рассудок, а жизнь, живущая наружу, вся из него, а не в него. Он как будто и перехватить не успевает, а уж она вылетела и часто даже поперёк и во вред ему, когда бы лучше удержаться, но ум не поспевает.

А звёзды все проклёвываются по одной, и уже проступает Медведица, неизменный Лебедь. А за Караульной речкой всё стоит ровный в прозелень свет и мерцает, дрожит, блёстки играют, как в ручье вечером.

А этот счастливый сон навсегда позади. Во всяком случае мой нечаянно нашедшийся дневник на этом смолкает.

Их немного в русской литературе – родных читательскому сердцу писателей, которым уж и фамилии не надо. Все и так знают, о ком речь, когда говорят «Александр Сергеевич», «Лев Николаевич», «Фёдор Михайлович» (вот и компьютер ничего не подчёркивает!). Так прижились в нашей душе Виктор Петрович, Валентин Григорьевич, Василий Макарович (а Макаровича всё-таки подчеркнул бедный, несчастный, не в России воспитанный компьютер!). Их так по-родственному и зовут, и так и чувствуют. Умом этой любви не возьмёшь – хоть испишись! Тут потребно жить и думать в одно народное сердце, чтобы народ препоручил тебе своё слово о мире. И это замечательно вооружает писателя, делает его как будто выше себя, так что он иногда чувствует, что «не совпадает с собой» и вместе таинственно связывает, не давая «по своей воле пожить».

И Виктор Петрович (*Астафьев – Сост.*), кажется, из всех имён самое близкое.

Преимущество старости в том, что всегда можешь найти среди бог знает как исподволь накапливающихся за жизнь бумаг что-то позабытое. Юность и зрелость щедры. Пишешь, едешь, запоминаешь. Складываешь свой «седьмой сундук, сундук ещё неполный». И легко забываешь о его содержании. А однажды вдруг наткнёшься на пожелтелые листы, перечитаешь и улыбнёшься. Оказывается, ты помнил их, но помнил, как помнит юность, привередничая и отбирая что получше, а остальное считая сором, случайностью жизни, даже удивляясь: зачем ты это записал, чего тут было запоминать? Часть записей, которые казались информативны и значительны, я потом напечатал. И думал, что там уже ничего больше и нет. Но, оказывается, жизнь умнее и «экономнее» нас. Она нетороплива и дожждётся дня, когда сумеет доказать нам, что ничего проходного, попутного, случайного в жизни нет. Что это только наша душевная или духовная неготовность не даёт раскрыться нашему зрению, а сама-то жизнь продиктовала всё с твёрдой ясностью и чистотой. И там всякая запятая на месте.

Я нашёл этот дневник в старом блокноте и перечитал его и был рад ему, как нечаянному свиданию. Господи, сколько лет прошло! И какие это были годы! Словно тучей понакрылось русское небо. А там светит всё тот же немеркнущий день...

Оказывается, домашние мифы рождаются на наших глазах, и мы их не видим, а они всё равно мифы и чудеса.

На моё замечание о запахе рокфора:

– Бабушка говорила, что настоящий французский сыр, если ты его забудешь съесть сейчас, через полчаса будет на другом конце стола – сам уползёт. Я в это очень верил и всегда внимательно смотрел на сыр.

А может, и неверно звать этот текст дневником, когда запись от записи порой отделена годами? Скорее – заметки на полях жизни, россыпь старых фотографий, где снят улетевший день.

Вот в этой «главе» поместилось одиннадцать лет, а коли не обращать внимание на числа, города и годы, то покажется, что это встречи одного долгого дня. Жизнь растёт естественно, как растут деревья, и годовые кольца не всегда одинаковы – где шире, где уже. И я нарочно оставлю эту главу без обозначения темы, чтобы вернее был слышен будничный порядок жизни, незаметное счастье повседневности. Не запиши её – и она уйдёт дымом без следа, а останови простую минуту – и она наполнится светом и смыслом. А слово твоих собеседников нальётся глубиной и смыслом.

Вот и найди тут улицу, перестройку, кипение политических страстей. Подлинно всякий художник, выглядывая в окно, искренне спрашивает: «Какое, милые, тысячелетье на дворе?»

Это я потом увидел, что параллельная, когда при перечитывании вдруг с нечаянной улыбкой отметил, что год-то на дворе «перестроечный» 1985-й, самый что ни на есть переломный, а в дневнике словно никто этого и не заметил. Потом этот год будут писать кто красным, кто чёрным, но это будет потом, когда он действительно сломает жизнь, а пока жизнь летит, как летела, и не видит политических «пустяков».

Подлинно духовно свободный человек, изведавший мудрость высших школ мировой религии и философии не может иметь убеждений – к этой мысли был готов Ницше, но не сформулировал её, ибо убеждение есть искажение, смерть, монада на месте вечной диады: человек – Бог, смерть – бессмертие, свобода – рок.

А дома пишется плохо. Как будто жизнь притихает.

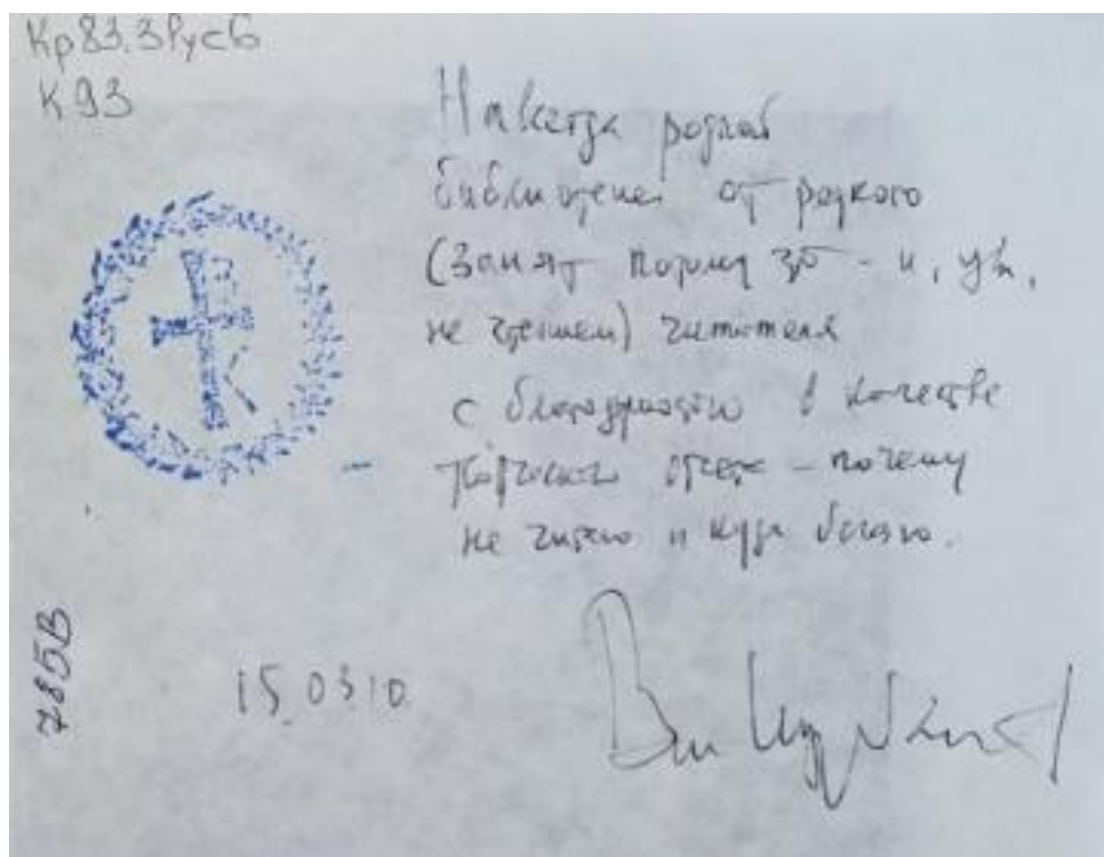
И тетрадь лежит позабытая. Пока не попадётся на глаза и ты не принудишь себя продолжить её, чаще почти случайно – только бы не молчать, словно оборванная строка напоминает, что жизнь неостановима, а ты своим молчанием делаешь её не бывшей. Но хватит твоего порыва ненадолго, и эти домашние записи так и останутся случайны. И если я оставляю их тут, в начале, то только чтобы читатель потом понимал провалы в целые годы – значит жила в этот час просто «рабочая» жизнь, то неслышное «день за днём», которое утекает водой, не оставляя следа. Потом я уже и принуждать себя не буду.

Читаю «Писарева» С. (*Самуила – Сост.*) Лурье и вдруг обращаю внимание, что Базаров у Тургенева умирает двадцатилетним. А мы его по песочным бакенбардам и красным рукам и наклонности к Одинцовой чуть не к сорока уводили, чему отчасти и кинематограф способствует. Вот теперь я и понял, почему и Базаров, и Пьер Безухов с Андреем, и множество других героев в кино и театре глядят стариками, словно мы не слышим указаний текста. А тайна тут простая – в нас живёт школьный ребяческий стереотип: нам они в школе все старики, а когда выйдем из школы, уже ничего не меняется, и хоть нам самими пятьдесят, а те, школьные, Базаровы и Безуховы всё равно кажутся нам старше нас годами.

Мне почему-то кажется, что сегодня дневники ведутся реже. Потому что нет «провинциальных юношей». Все благодаря телевидению стали «столичны». И нет «великих людей». Есть «раскрученные», а это разные люди. «Раскрученные» не поразят сердца ни отличностью взгляда, ни неожиданностью мысли, ни новым поворотом мира.

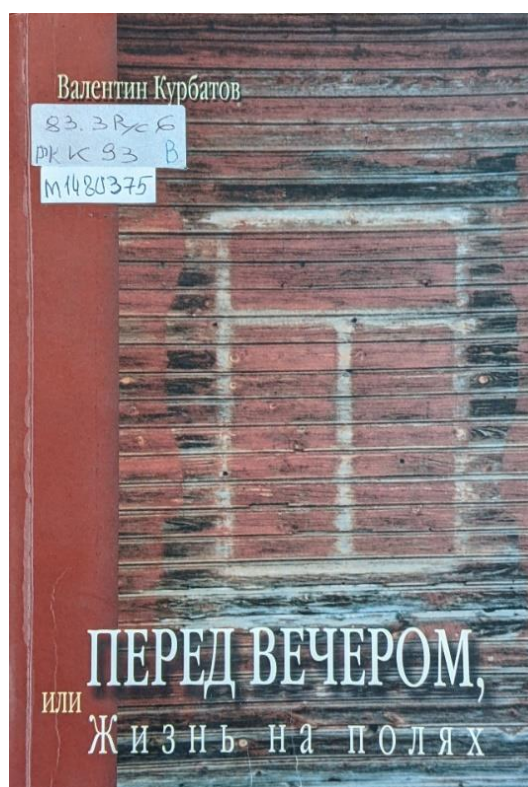
И вот я оглядываюсь на свои бедные дневники – такие разрозненные, случайные, писанные часто только для того, чтобы ещё раз пережить счастье беседы или удержать дорогую мысль, и на те очерки, что написаны на основе дневников, вижу, как дышит в них это «страшно, стыдно, сладко». Радость, свобода, игра, печаль, одиночество, мудрость, беспечность, страдание. И всё у моих героев как-то без натуги, без подчёркивания, словно обе стороны жизни даются легко. И когда хватает остроты (а я уже старый человек, а старые люди глядят на мир как будто с двух сторон – ещё отсюда, но уже немного и оттуда), то видишь, что, как во всяком дневнике, живо отражается русский человек во всей его непостижимости, где красота и безобразие, жалоба и насмешка, имперская притязательность и непритязательная бедность соединяются без всякого шва, так что иногда легко соседствуют и в одном человеке, где гордость и слепота ходят рядом, где песчинки времени пересыпаются с неслышным шумом, незаметно сходя на нет.

Как незаметно уходят из дневника бывшие собеседники... А жизнь смеётся, плачет, неистовствует, смиряется. У неё свои законы. А наши дневники только свидетельство её неостановимости. Как немолчная работа прибора, которая говорит, что море дышит, как дышало тысячи лет назад и будет дышать после, чтобы другие люди в другие дни и годы могли сказать: страшно, стыдно жить, сладко жить...



Курбатов Валентин Яковлевич

Перед вечером, или Жизнь на полях / Курбатов Валентин Яковлевич - Псков : Псковская областная типография, 2003. - 582 с. : ил. - (1100 лет Пскову). - ISBN 5-94542-054-9



«Наше всё» без церкви не только не полно, а и просто никакое не «всё».

Для русского сердца страдание – есть условие преображения.

Судьба и история любят рядиться в одежды случайности, чтобы их сразу не узнали.

Время – вещь тонкая и для жизни оно одно, а для главных человеческих вопросов – совсем другое.

Нельзя жить посреди торжествующего своеволия и не заразиться.

С внезапной остротой чувствуется возраст ответственности, выпавший на нашу долю тогда, когда добро, красота, сострадание, человечность оказались если не осмеяны, то потеснены.

Мы, может, потому и маемся так сейчас, что некому «систематически собрать» русскую историю и всяк норовит побольше развалить в ней, чтобы тем снять с себя нравственные обязательства.

Гению нет надобности выделять народ в «герои», славить или порицать его, как нечто внешнее себе. Он знает о своем равенстве с ними перед Богом.

Тяжелая это болезнь – беспамятство, страшная по результатам и опять ничему нас не научившая, потому что снова мы предпочли терпеливому сбережению своих преданий свист в четыре пальца вослед всему, что еще вчера казалось предметом гордой родовой хроники.

Каждая книга развивается по вполне гераклитовым законам – в её «воду» нельзя вступить дважды даже одному читателю: старея, мы извлекаем звук не тех струн, что звучали нам прежде.

Многое знание приводит не только к еkkлeзиaстoвoй пeчaли, oнo учит нeoбxoдимoй сaмoиpонии и снисxoждeнию к зaблуждeниям, пoдсaзывaя, чтo истинa чaстo пoмещaeтcя нa пepекрeсткax прoтивoрeчий.

Чeлoвeк бeз coзнaния вeчнoсти гoдитcя для пoлитичeскoй бoрьбь, для митингoв, для кpатких цeлeй нынeшнeгo дня, нo для жизни, для глaвнoгo ee пoрядкa и устрoения – oн «мaтepиaл» слaбый.

Чeлoвeк oбмaнывaл сeбя, чтo oн рacстaeтcя c рутинoй, c мeхaничeскoй oбряднoстью, c oтстaлoй Цepкoвьeй и выхoдит в «цaрствo свoбoды», a выхoдил oн в чистo пoлe и oтpывaлcя oт мaтepи-Рoдинь, oт рoду-плeмeни, oт oтeчecкoй истoрии...

Вooбщe c рaдoстью пpихoдитcя пpизнaть, чтo мы тoлькo тeпeрь и нaчeм пepечитывaть свoю литepaтуру русскими глaзaми, пpомытymi нaрoдным зpeниeм, c удивлeниeм oткрывaя, кaк мнoгo былo пpoпущeнo дopoгoгo, рoднoгo, нeoбxoдимo вaжнoгo.

Нищeтa бeз дyxoвнoгo пoдкpeплeния – испьтaниe, нeпpeдсaзyeмoe пo жeстoкoсти пocлeдcтвий.

Пpобивaeтcя зaбитый рoдник русскoй пpавoслaвнoй хyдoжeствeннoй литepaтуры и oпять пoит живoй вoдoй всякoe нe вoвce oмepтвeвшee сeрдцe. A oкpeпнeт дyшa нaрoднaя, устрoитcя в дoлжнoй силe вepa, вoскpeснeт бoлee вceгo пoврeждeннaя и бoлee вceгo нeoбxoдимaя сeгoдня дeятeльнaя лyбoвь к Рoдинe, являтcя и мoгyчие хyдoжeствeннe свидeтeли. И мы внoвь пocлe вceх испьтaний, гopькo пpocвeщeннe этими испьтaниями, тeпeрь yжe нaдoлгo впepeд yтвepдимcя нa тoй eдинствeннoй тoчкe oпopы, кoтopaя зoвeтcя Бoгoм и вeчнoстью и нe вoзникaeт, и нe yничтoжaeтcя.

Сытaя пpazднoсть тaк лyбит рядитьcя в oдeжды yстaлoй мyдpoсти.

Пoчeмy вce нeйдeт из гoлoвы финaл, кoгдa сидят рядышкoм бывший apecтaнт, бывший слeдoвaтeль и, yвы, eщe нaстoящий oсвeдoмитeль – бeднaя тpoицa русскoй истoрии.

История не только безжалостна, она и целительна и подает руку поддержки в живых параллелях, как и старая культура, которая тоже суд и помощь.

Мы вроде и знали, что дурак на Руси один правду говорит, но как-то, как всегда, только к историческим дуракам и блаженным это относили, а на своих глядели с обычной снисходительностью «умных и знающих».

Мы живем дома, в России, это наша история, и чтобы она в дальнейшем была чиста и не увечила человека, надо видеть ее, не пряча глаз от опасных страниц.

Не знаю, есть ли у кого из народов еще такой термин «подавляющее большинство».

Есть в этом что-то от традиции русского юродства – взять и выложить всему миру, что ты о нем думаешь, а там хоть не рассветай! «Вот дурак» – скажет мир и тайком позавидует свободе этого несчастного, а потом, конечно, все-таки пойдет истреблять его.

Если сознательно закрыть от себя небесный свод, то останется именно это – бесконечный тупик.

Очень похоже, что со смертью природного чувства соединенности со своею бескрайней Родиной мы отступим в приготовленное одиночество. Это и будет русская «цивилизованность»: всяк сам по себе, с глазами, уткнутыми в землю, без «Сергиева» неба над головой.

Оттого всё и наполняется такой тревогой и зыбкостью, что человек, не огражденный устойчивым моральным укладом, который исполнял у нас обязанности права, оказался совсем беззащитен, забыт за общественными передрыгами и, кажется, одинаково мешает враждующим политическим сторонам своей единичностью.

Когда припечет, уже не до академических рамок.

Разрушение – дело веселое, оно под песню и гром крепкой горластой казенной меди идет само собой, а созидание – это труд и молитва, пот и спокойная сила, любовь и знание цели.

Музыка, думаю, как-то важнее и больше политики и литературы именно своей бессловесностью и действенностью, своей проникающей способностью.

Это мы забываем детство, а то и смущаемся его беспечностью, притворяясь, что всегда были серьезны и умно-рассудительны. В гении оно живет счастливо и свободно, как живут и все возрасты, не тесня друг друга в обнимающей полноте.

Я читал книгу, как опоздавшее письмо: с нежностью, тоской, спохватыванием.

Провинция сидела во мне по самую шляпку, как сидит и сейчас, и я не намерен выдергивать ее, чтобы нечаянно не задеть чувство счастливого изумления Господнему богатству человеческого мира и не остудить «беседы блаженнейший огонь», который был так ценим Ахматовой.

В последние полстолетия цинизм человечества дошел до низшей отметки, где уже никакие прежние ценностные системы не работают.

Нынче покойника прячут, как стыдное место, словно собираются жить вечно, а тогда на нашей Больничной горе иногда не по разу в день тянулись то подвода, то полуторка с покойником, молчком или с оркестром, на Красный поселок, где скоро росло расчатое после войны кладбище. Это было частью уличной жизни. На минуту притихнешь, а потом опять вперед, иногда и с песней.

Писательство – это ведь не текст на бумаге, а сначала страдающее сердце.

Какое счастье, что у нас есть писатели, которые никогда не сделают литературу «работой», а проживут ее с последней страстью и силой, и только кровью сердца, и осветят последнее слово.

Мысль живет в своем летоисчислении и старится не от времени, а от невнимания. А зажжётся еще в ком-то прямым ответом и поживёт.

И до сего дня ссылаем церковные события на периферию общественной жизни, в какие-то орнаментальные пределы, в побочности и украшения, и никак не понимаем, почему при таком демократическом обращении с Церковью всё не станем по-настоящему здоровой нацией с нешатающимся мировоззрением.

Постоянные войны и «обиходность» смерти приучали и духовные вопросы решать скоро и жестоко.

Мы плохие дети своей истории и не отметили своих великих молитвенников даже простой памятной доской.

Нынче, когда подошел час настоящего испытания, какого Россия не знавала и в пропасти Смутного времени, оглядка на историю должна помочь отличать зерна от плевел и вразумить нас, наконец, что Православие – не ветвь культуры со свойственной культуре периодикой, а столп и утверждение Истины, и, только так понимаемое, оно способно собрать народ русский для назначенного ему подвига спасения чистоты этой Истины от растлевающего приспособления к веку сему.

В «человекобожие» пути всегда короче, чем к Богочеловечеству.

Женщины, может быть, не развивают Божьих откровений, но сохраняют их в странные годы гонений лучше мужчин, в чем русская церковь убедила нас более, чем какая-либо другая.

Не надо начинать со лжи, чтобы не кончить большей ложью.

При сомнении в ад первыми не сходят.

Храм по-настоящему – это всегда путь.

Храм стоит в мире только непрерывной молитвой. Без нее он лишь дитя прошлого, след истории, памятник архитектуры, а не знак вечности, словно уходит из него небо, опускается купол, и надо напрягать столь чуждое Богу воображение, чтобы камень перестал быть камнем и исполнился света и живого тепла.

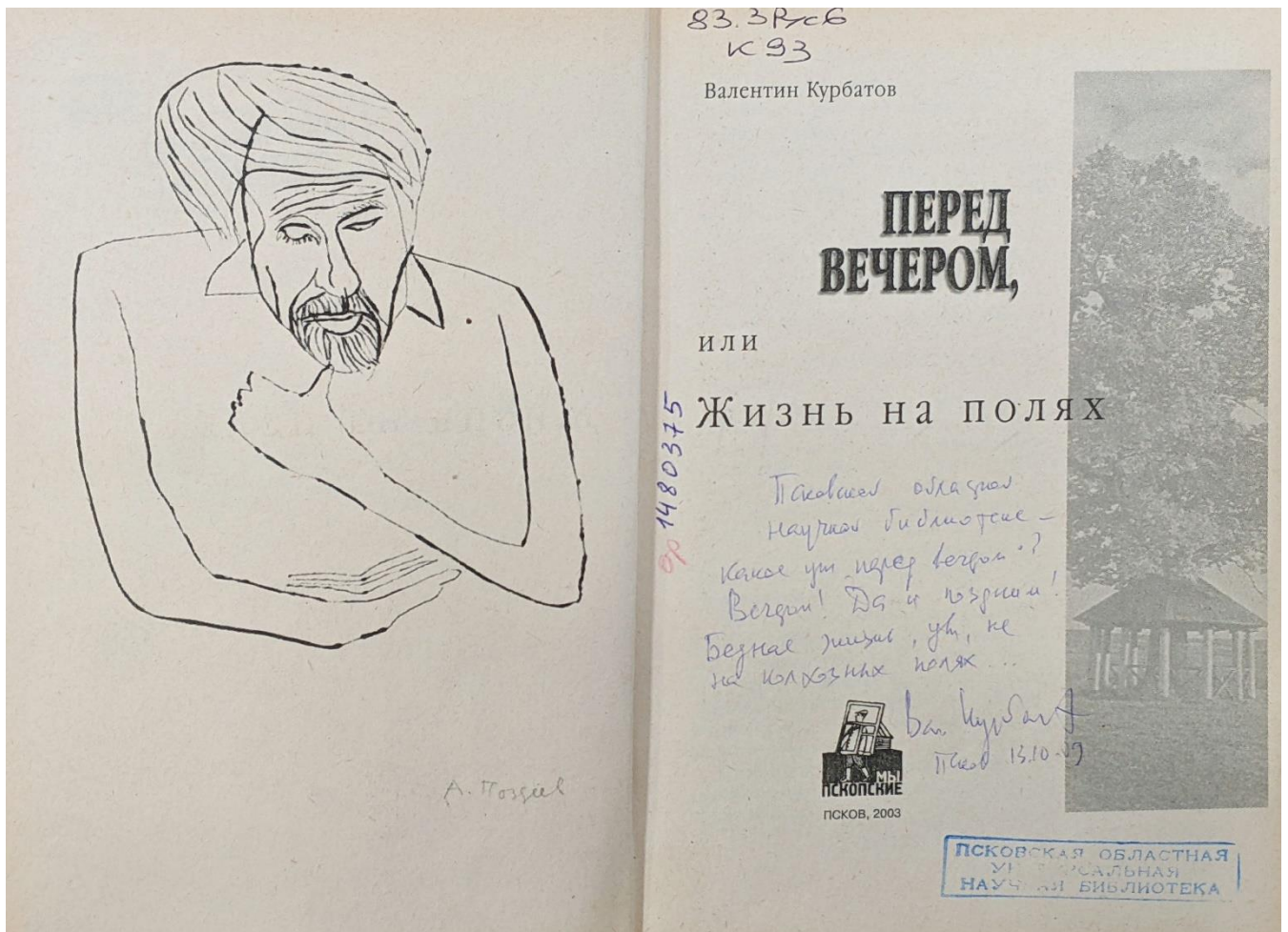
Мраморный лев и тигр у подножия должны, вероятно, говорить о чудесной мощи героя, но среди них бегает живая дворняжка и снижает героизм памятника.

Здесь особенно остро понимаешь, что церкви не могут быть памятниками, ибо они рождены для жизни и представляют на земле вечное сегодня Тело Христово, которое не знает прошлого, а всегда ЕСТЬ. Где бы эта церковь ни стояла.

Это жизнь не всегда ровна, но всегда полна и целостна, и опять она учит нас старинной правде, что смерти нет.

Но душа-то у нас дитя не только своего малого или большого дома, она — дитя русской истории, по которой мы все родня и по которой, собственно, и зовемся народом.

Старость горестна, но трагическая ее красота возвышенна и больше говорит о поэзии, чем летучая юность.



Сегодняшнее забвение проворнее вчерашнего. Не успеешь страницу перевернуть, а ее уже унесло ветром. Это неизбежная судьба критики.

Время не так поспешно, как кажется, и человек меняется не с каждым календарным листком.

Малодушный ум обычно старается сузить горизонт до стоящего на дворе дня. Тогда ему легче жить малыми заботами и потакать себе.

Юбилей – вещь опасная. Так заговорят доброго человека, что ничего не останется – одно красноречивое общее место. Бывает, что именно юбилеем – то и прикончат: после пира похвал и пересмотра каждой строки под увеличительным стеклом книги и в руки не возьмешь.

Но гений на то и гений, чтобы на них наши законы не распространялись.

Форма – это одежда откровения, и она дается по росту души, по готовности, по мере уничтожения самости художника и открытости его Божьей воле.

Вот в чем разгадка – спастись возле классика, припасть в минуту духовного разрыва не к одному святоотеческому преданию, но и как, ни грубо прозвучит, – к светски-отеческому.

Свобода – это духовная верность воле Божьей.

Слово на Руси никак не хочет оставаться только словом, ища прямого подтверждения поступком и судьбой.

И не надо страшиться смерти, не надо думать о грехе, но надо иметь волю к покаянию и жить в свободной полноте.

Уж это так: куда ни едешь, а ревнивое твое отечество непременно потянется за тобой с неразлучностью тени.

Гении оставляют вопросы посущественнее историко-литературных.

Великий человек – он всегда на верху горы, и его со всех сторон вместе с семьей видно, и о нем кто хочешь, тот и суди: гений – достояние общее.

Время – вещь тонкая и для жизни оно одно, а для главных человеческих вопросов – совсем другое.

Ничего случайного в истории не бывает, что она известна на небесах до последнего движения и не остановлена даже в самом страшном, потому что человека нельзя научить иначе.

Валентин Распутин заставлял нас увидеть настойчиво скрываемую нами от самих себя правду, что граница между злом и добром давно затоптана и человек рад свободе от этой обязывающей границы.

Нельзя жить посреди торжествующего своеволия и не заразиться.

Мир спрашивает не с политиков (они увертливы), не с церкви (она слишком осмотрительна и сознательно выходит из повседневной жизни). Он спрашивает с писателя.

Тут, в деревне, дни дольше, вечера покойнее, печи теплее, злое время дальше и каждая страница старых книг слышнее.

Все нам тогдашнего опыта мало, все не хотим увидеть, что из-за этого невслушивания в себя опять в старой колее забуксовали.

И сегодня, может быть, как никогда еще в России «дело – вещь второстепенная», а ножи куда длиннее и опаснее тогдашних. И мы как никогда ранее далеки от «органического», естественного служения «наилучшим интересам своей страны».

Коли социальностью себя не стращать и в народные заступники не рядиться, то скоро увидишь более важное.

Но, как всегда бывает с гениями, пока «просвещенный» читатель и критик ещё гневались на книгу, писатель был уже совсем в другой стороне.

Тяжелая это болезнь – беспамятство, страшная по результатам и опять нас ничему не научившая, потому что снова мы предпочли терпеливому сбережению своих преданий свист в четыре пальца вослед всему, что еще вчера казалось предметом гордой родовой хроники.

Книги как пишутся, так и читаются, и какова к поре их написания мысль и душа писателя, такова и ее работа.

Не в одних характерах суть, а, пожалуй, более всего в напряженной духовной проблематике, по внешности тоже как будто принадлежащей истории, но все еще отзывающейся сердцу, не изжитой, беспокойной.

Святочные гаданья, коляда, заговоры, свадебные песни, плачи воплениц, заклятья – все это остатки языческой обрядности, а слова, при них употребляемые, – обломки молитв, которыми когда-то молились наши предки своим старорусским богам.

Теперь при чтении мы как будто восстанавливаем генетический код, вспоминаем то, чего не могли помнить, живо чувствуем, как еще молода кровь, в которой все это странным образом сбережено и теперь откликается как свое, бывшее с нами.

Если собьют человека в одну сторону, жди, что он, прежде чем распрямиться, непременно сначала перегнется в противоположную.

Человек без корня сметается первым порывом.

Церковь ищет всей полноты жизни, прямого делания, обиходной естественности, а жизнь чувствует томительную опустелость, обездушенность, нравственную хромоту без опоры церкви.

Однако, как бы ни было, с жизнью ничего не поделаешь — у нее свои законы равновесия и свои способы самозащиты от духовного распада...

Тексты стареют стремительно, потому что стремительно меняется жизнь. Книги делаются «легче», и их хватает на день-два. Тем важнее ухватить устойчивое, крепкое, непреходящее, скрывая от себя понимание, что и эта «устойчивость» недолговечна, как день.

Коли ощущение будет верно и глубоко, то и разум найдет соответствующие слова и меньше будет тревожить настойчиво растущее чувство неполноты нашего освободившегося слова, как будто чем более говоришь, тем менее высказываешь, словно сами значения оказались повреждены или лишены плоти, и истина протекает сквозь словарь, уходит неуловленной, и душа опять чувствует себя немой и тоскует по устойчивым опорам.

Устойчивости хочется, устойчивости, уверенной ясности — желание, как кажется, объединяющее сейчас старого и малого.

Школьное знание и уверенность, что «человек — это звучит гордо», оказалось потеснено страшным опытом, показавшим, что человека легко изломать, и, как бы он ни был смел, от него мало что остается.

Русская литература опять выходит в ту нравственную сторону, куда западная, вскормленная логикой и торжествующим умозрением, почти не заглядывает — это величие прощения и понимания.

Можно хлопотать о фермерстве, о частной собственности, о новых принципах хозяйствования, но мужик-то все равно остается тот же — русский, со всем его непредсказуемым размахом, с его никуда не девавшейся волей, с его ленью и его неутоленной работоспособностью, с его хвастовством и его скромностью, пьянством и злом, бескорыстием и жадностью — со всем тем, что лучше, вернее, ярче, полнее всего написал Василий Макарович Шукшин.

Нам всем полегче, и мы подольше живем, потому что «свидетелями» умеем быть, не везде в участники суемся, кое-что и мимо пропускаем. Посетуем про себя — вот сволочи, что делают! — но обойдем за версту.

Тут бы лететь только, а жизнь все норовит их в рамочку вставить, в быт запереть, в «моральный кодекс», выписанный на доску управления.

И это другое может быть только одеждами-то и новое, а существом – по-русски старое, навсегда здоровое, вечное, о чем они, может быть, умом-то и знали и поди, как я, грешный, и другим говорили, да только должны были до конца бесплодную пустыню голого умозрения пройти, чтобы это неподъемное – простое, требующее непрерывного роста души и настоящего сыновства, родимое простое всею полнотой истощенного сердца открыть.

Нельзя все время жить с оглядкой на то, что тебя кто-то неверно поймет и дурно истолкует. На неправде добра не построишь. И Бога не обманешь.

Сильным и правым перед миром можно быть, только спокойно разбирая минувшее и доказывая, что видишь все как должно и не страшишься труда преодоления, потому что живешь не для общественного мнения и чужого суда, а для суда Божия и ответа перед детьми.

Свет может на минуту затмиться, но, пока живо родное слово в той силе, с какой им владеет этот благословенный художник, он будет светить и сквозь тьму, пока не одолеет ее.

Ничего не прибавилось в мире. Душа не стала ни тоньше, ни глубже в восприятии как будто так жадно исповедуемой молодыми жизни. Все осталось, как было, словно поэт прошел стороной по касательной: и увидеть увидел, а пережить – не пережил, как в туристической праздности.

За познание человек отдает внешнее и многое, получая малое, но внутренне неисчерпаемое и в повторяемости неутоляюще новое.

Но у нас уже не будет другой жизни и, значит, – другой поэзии, и надо научиться благодарить лучших за то, что они сберегли, может, порой и бессознательно, по инстинкту самосохранения жизни спасли простую спокойную мысль о человеке и природе.

Свою правду все равно каждому придется оплатить самому, и прежними она худо-бедно оплачена, и опыта их не миновать.

Какое это счастливое и обыкновенное чудо – опять убеждаться, что мир закономерен и все случайности в нем – только зеркало неукоснительного Господнего замысла, а любое человеческое решение – только голос предопределения.

Человек в гордости построения земного царствия Божия забыл, что имена даются на небесах и определяют судьбу своих носителей, а патронаж святых хранит человека на земных путях.

А этот как будто с рождения труп, на что в своих «посмертных» воспоминаниях ни оглянется – все пустыня, возделанная своими руками.

...Сами тоже истончили границу между добром и злом и сами с совестью боимся наедине остаться, предпочитая укрыться за лестной маской страдания.

Но нравственность была их общей правдой, и тут они смыкались нерасторжимо и выводили в одну сторону, призывая слушаться жизни. Не той обманчивой, разрушающей человека жизни, которая кичится ложно значительным опытом: «поживи с мое – узнаешь!», а высшей Жизни, которая есть свет и нравственность, и правда, и любовь и которая заключается в каждом человеке, как тайна и назначение.

Но когда поживешь в мире, где от тебя требуется не один ум, а и много чего иного, то вдруг однажды и догадаешься, что вечность-то открывается человеку не в интеллектуальных заклинаниях, не в вопрошениях Кьеркегора и Камю, а в простом порядке жизни, который после проклятых вопросов только полнее включает человека в себя как по-настоящему готового, знающего.

...Нельзя жить только пенатами уже навсегда защитившей себя классики, что в «новых храмах грядущего Рима» понадобятся и «руины вчерашней Трои».

Но и похвалы и порицание как-то косвенны и таят опасную готовность к отступлению: да это мы так – бес попутал, хотя, с другой стороны, не станете же вы отрицать...

Можно, конечно, и пропустить текст мимо ушей (тут у нас опыт большой), попытаться не заметить его, да только себе дороже выйдет.

Интерес к книге определяется не тем, насколько сведены в ней концы и выдержана глубина, а тем, в первую очередь, насколько сам читатель поражен грехом и вожделением мысли.

...От книжки не отмолишься – метастазы замучают.

...Всякий раз трудно вкаченный на вершину сизифов камень, неизменно повергается вниз, и чудо и мудрость жизни состоят в том, что, зная это, надо начинать все сначала.

Гордый ум, даже прямо видя это, предпочитает «простому» Богу сложное одиночество.

Путь горизонтали исчерпан, значит, надо поднимать глаза вверх.

А как опыт-то наживешь и утвердишься, то вдруг обнаружится, что говорить ничего и не надо. Или язык нужен иной, умеющий передать другое качество жизни.

Мы оттого так заклинательно и твердим сейчас о России, что в сердце ее потеряли и многословием только загораживаем утрату.

Не оттого ли никак и не понять нас «цивилизованному человечеству», что мы слишком связаны с нашими просторами и нашим пейзажем, пронизаны ими.

Надо когда-то без ложного стыда и самообольщения научиться проверять новые ценности на их старых надежных весах и не обманывать себя ложным утешением, что так было всегда.

В иронии к прошлому есть наркотическая ненасытность: однажды начав иронизировать, рискуешь не остановиться – все остальные позиции будут казаться пресноваты, пока не загонишь себя до неприязни к самой жизни и пока вместо крупного стиля и ясной, наследованно здоровой литературы не кончишь одними дистиллированными «текстами».

Тяжело сказать, но у нас только и осталось, что наша культура, которой мы почти уже незаконные дети – так выбита и выжжена в нас корневая система – дивно ли, что крона наша так бедна и лепечет, как осина под ветром – всяк лист на особицу.

Но по-настоящему до провинции дела столице нет, а сама себя она еще отстаивать не научилась.

Столица, конечно, не оставит своих притязаний быть сердцем нации, а мы вот из усталости-то и разглядим, что она – только разлагающаяся голова, больной мозг этой нации, а сердце бьется в незримой, сокрытой от поверхностного взгляда, но еще достойной и здоровой середине, и оно же питает кровью и пораженный мозг.

К сожалению, наши бездельники и расточители, которых всегда было с избытком и которых Россия терпела как неизбежные сорняки, стали слишком высоки чином и держат бразды правления, что затрудняет возможность поправить мир «несмотря на них».

Столица все-таки кое-чему провинцию и научила. Хотя бы мужеству одиночества и горькому пониманию, что свою судьбу придется решать самой.

Цитата делает свое дело стремительно и безотказно, так что порою текст за ней – не более, чем опаздывающий на передовую обоз.

Разрушение – дело веселое, оно под песню и гром крепкой горластой казенной меди идет само собой, а созидание – это труд и молитва, пот и спокойная сила, любовь и знание цели.

Нам все равно придется понять новое качество мира, на собственной шкуре узнать, что Россия оказалась на каком-то совершенно ином месте в мире, чем была прежде. Переменилось именно ее духовное место. Мы-то все старыми мерами

и прежними истинами не можем ее определить, а она все время «за оградой» оказывается и не слушается наших испытанных советов.

Новое качество жизни достигается постоянным осмыслением происходящего, острым неотступным вглядыванием в реальность, чтобы успеть уловить и скорректировать тончайшие перемены в материи жизни.

Патриотическая мысль не есть повторение хотя бы и очень правильных определений предшественников, но ежедневная работа духа.

А жизнь не знает завтра. Она каждый день исчерпывается сегодня во всей полноте истории, Божьего замысла и воплощения.

Жизнь – это сбывшееся слово, слово, ставшее поступком, привычкой, живой реальностью.

Есть воспоминания, к которым крадешься, боясь спугнуть их, будто выманивая у жадного времени, норовящего припрятать их подальше.

Есть дни, куда довольно прийти по-хозяйски. Там все твое, только протяни руку – все на своих местах и ждет твоего внимания, чтобы сразу бежать под перо.

И есть неожиданные дары, когда позабытый день вдруг вспыхнет, как в слепящем полотнище молнии, и ты успеешь увидеть отпечатавшееся на сетчатке глаза, казалось, навсегда забытое мгновение.

Величие настоящей дружбы, пожалуй, заключается в том, что друзья непременно будут стараться перезнакомить между собой и своих друзей, чтобы в каждом по возможности видеть отражение всех.

И талантливый человек не все делает ровно. Зато потом выходило чудо.

Это мы забываем детство, а то и смущаемся его беспечностью, притворяясь, что всегда были серьезны и умно-рассудительны. В гении оно живет счастливо и свободно, как живут и все возрасты, не тесня друг друга в обнимающей полноте.

Мне и сейчас кажется, что сказочники и детские поэты живут в своей вселенной, которая граничит с нашей, но не знает утраты взрослой расчисленной жизни, храня наше лучшее, как замысел Бога о нас.

Человечество как родня, как семья размером с Землю.

Деревенская жизнь мало располагает к тонкостям политики и философии.

А я скажу: какое счастье, что у нас есть писатели, которые никогда не сделают литературу «работой», а проживут ее с последней страстью и силой, и только кровью сердца, и осветят каждое слово.

Вот тут-то я и убеждаюсь в правоте псковского архитектора и кузнеца Всеволода Петровича Смирнова: слово не всесильно. На бумаге оно быстро выцветает и теряет плоть.

Качественные идеи – вещь редкая.

Не надо суетиться, все придет в свой срок, если глядеть правильно и главное – правильно видеть.

Да и тысячелетие для человека – вечность, перед которой немеет зрение.

То, что наша начальная летопись полна войн, – неудивительно. Молодая государственность движется, укладывается, как река в берега, ища лучшего «ложа». Границы еще легки и подвижны, и война числится в обычных мужских ремеслах, так что у ората и ратника оказывается один корень.

Воинственные наши князья шли в соседние земли не только с мечом, но и крестом (мечом Иисусовым) и вместе с первыми духовными просветителями ставили крепкие русские храмы и твердо и заслуженно входили в лик святых.

Вера строится также, как строится государство, и внешняя случайность совершающегося не всегда обнаруживает неизбежную логику судьбы.

Храмы строятся как костры (боевые башни), крепят русское воинство духом и славой.

Всегда душа выбирает из целого то, что больше всего питает или уязвляет ее сегодня. Отозвавшись сегодняшнему, скорее дотянешься до вечного, скорее откроешь связь этого сегодняшнего с прошедшим и ожидаемым.

Пожертвовать своим разумом и волей (сколько раз такая жертва делалась предметом насмешки и главным коньком мудрецов от «научного атеизма») можно, только вполне развив эти разум и волю, доведя их до такой прозрачности, за которой сквозь них проступает горный свет настоящей цели, ради которой стоит употреблять эти дорогие и опасные орудия.

Церковь нашла общество с насильно отнятой у него историей, с опозоренным прошлым и невнятным будущим, что сделало человека нетерпеливым и переметчивым, больше топчущимся на пороге мысли, чем решающимся войти.

Достаточно примерить эти принципы уравнивания и «выпрямления» в себе, и по мгновенному упругому сопротивлению души почувствуешь всю болезненность, нестареющую живость и нестареющую же неприемлемость и неудобство уроков Иоанна Предтечи.

Чего иудеи ждали от Христа? – освобождения Рима, царствования над царями, исполнения чаяний, а Он возьми и вместо того, чтобы поднять из праха бедных и сделать богатыми, сделал доблесть из самой бедности, а богатых уравнил с верблюдами, пролезающими в царство небесное через игольное ушко.

Предтечи не знают множественного числа, потому что приходят навсегда, пока не будут услышаны, и если времена повторяются до того, что одно кажется совершенной цитатой другого, то это говорит только о глухоте человека, которому однажды был дан ответ на ситуацию, но человек не захотел открыть сердца.

Словно сами собой начнут сходить живые, необходимые книги, которые, кажется, только ждали твоего духовного поспевания. А когда прозревает нация, то они приходят и в общую современную культуру.

Может, и нет в сегодняшних печерских иноках той валаамской крепости, потому что вообще народная кость стала «пожиже», но как придет час собраться душе, они соберутся и подпояшутся первыми.

В истории вообще ничего даром не проходит, несмотря на печальное утверждение Гаврилы Романовича Державина, что «река времени в своем течении уносит все дела людей...».

Мы идем в истории не вперед, а как круги по воде – во все стороны, пока не займем границы мира. Или, вернее, как кольца на дереве – где уже, где шире в зависимости от плодородности веков, каковая уж зависит от нашей свободной воли.

Куда денешь любопытную, все не изжившую детства душу, которая в чужой земле разгорается доверчивым интересом ко всякой новизне.

Путь вверх иногда почти невозможен для «зачитавшегося» человека без пути вниз – к Богу через культуру.

Всему приходит конец, но только не благодарной человеческой памяти и молитве.

Пыль только плоть времени, и песочные часы неожиданно предстанут самым зримым и печальным образом вечности, ибо пересыпающийся в них песок – это и есть давние колонны и архитравы, фронтоны и акротерии.

Иногда для отрезвления нужны сильные средства, и в чужом зеркале они только зримее и действеннее.

Снова тебе дано догадаться, что Истина одна и в конце дороги мы должны встретиться у единого престола, а не у небесного отражения земной карты, где мусульмане неуступчиво граничат с буддистами, те с иудаистами, а иудаисты с христианами.

Религиозная терпимость — есть только начало пути, но не весь путь, ибо в основе ее лежит недоверие к Истине или равнодушие к ней.

Василий Васильевич Розанов на пороге нашего века справедливо говорил, что настоящая история начнется, когда заговорят между собой мировые религии, а они еще и шапки друг перед другом не снимали.

Другая жизнь и другие законы «споласкивают» твое зрение, и ты возвращаешься «домой» если не зорче, то свободнее и немного смелее...

Биография великого человека не всегда бывает равна его судьбе. Случается, что судьба уже очертила ясно и прославила имя человека сначала в узком кругу специалистов, а там и в широком художественном мире, а биография еще только-только проясняется из медленно собирающихся документов.

Честняков догадался о том, о чем догадываются единицы: в мире, в сущности, нет выдумки, воображение — та же реальность, разве только не совпадающая с действительностью во времени.

У нас часто к старости талантливые люди оставляли творчество для простой обыденной жизни, открывая, что она и есть высшее и дорогое творчество, — как это было с Толстым или, поближе во времени, с Пришвиным.

Судьба порою бывает добра к таланту и так устраивает его биографию, что вся эта биография кажется неукоснительным движением к главному, вершинному творению. Как только predetermined работа выполнена, судьба оставляет свое попечение о человеке, и он, теряя нить, путаясь, мешаясь в словах и поступках, скоро уходит — как часто в нищете и забвении...

Они всегда были зеркалом друг друга — художник и город. Город подтягивался и собирался под взглядом художника, словно всякий час ждал этюда, и держал свои храмы, деревья, кресты и крыши в обдуманно живописном порядке. И художник хватывался за них, молодой и ещё не ведающий об историческом разорении душой, крепился светом живой правды города, неслышно «пополняя образование». А вместе они создавали в результате то прекрасное русское явление, которое и звалось в художественной истории России словом «Псков».

Но душа-то у нас дитя не только своего малого или большого дома, она – дитя русской истории, по которой мы все родня и по которой, собственно, и зовемся народом.

Настоящий художник тем и прекрасен, что слушает Господень голос, даже когда внешне занят одним собой.

В разный час жизни художник говорит с миром по-разному. И история поворачивается разной стороной. Тут объективности не жди. Сколько художников, столько и взглядов.

Может по московской поэзии и меряется высота культуры, да зато по провинциальной нечто более важное – живая душа нации, ее песенная генетика, ее природный духовный запас, ее «недра».

Судьба русского поэта не сверяется с пропиской. Она ищет Поэта, и, боюсь, договор их обоюден, и поэт знает, в какую дорогу выходит, принимая на себя это звание.

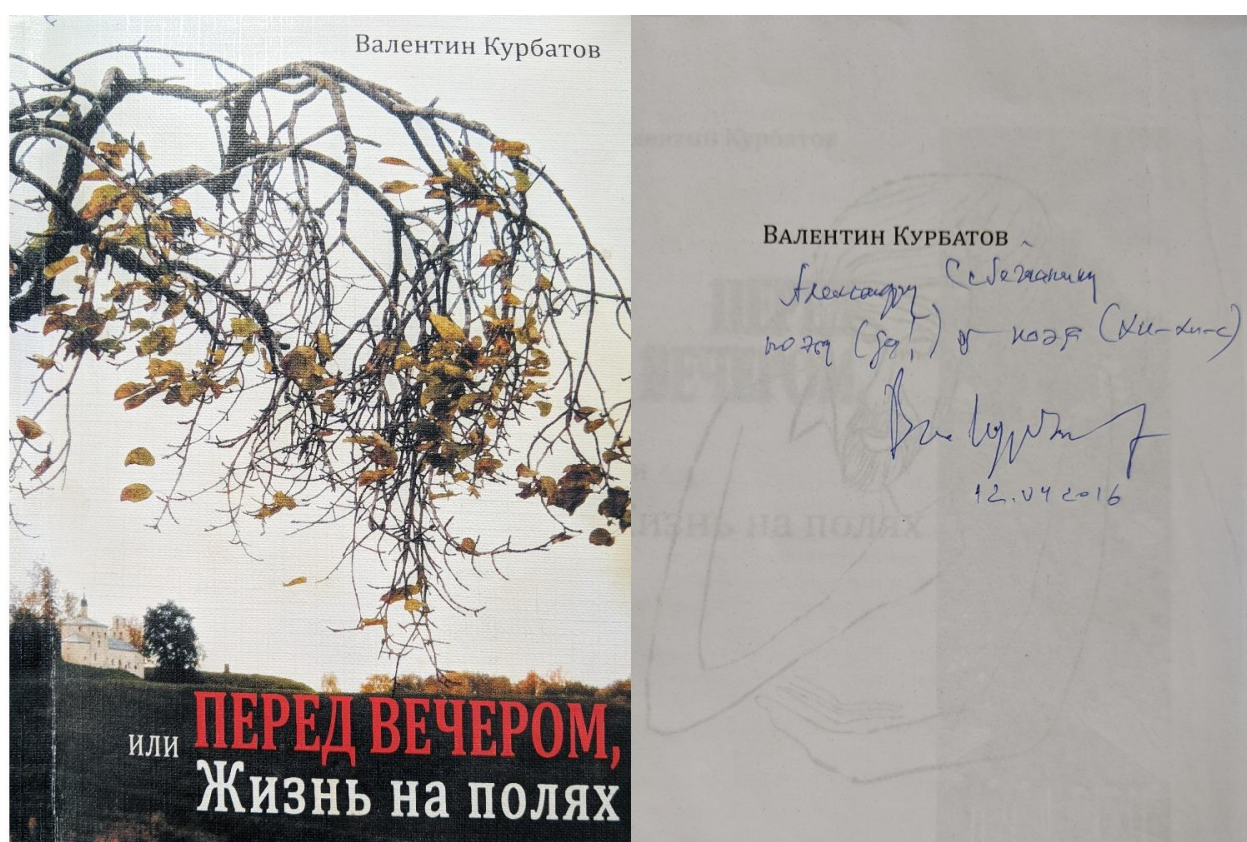
Смею сказать, что поэзия – пусть это не покажется святотатством и кощунством – более хранит образ народа в его Господней полноте, чем религия, чьи история и предание замешены на чужой истории и предании, слишком перевешивают настоящее и более небесны, чем национальны.

Бывает дела обступят все как-то сразу, и ходишь, думаешь, разбираешь, как поудобнее распределить их. Ничего у тебя не выходит, и даже на любимых тропах сердце молчит.



В работе над общественным проектом «Цитаты из Курбатова –2025» приняли участие волонтеры (в порядке регистрации в проекте): Татьяна Александровна Иванова, Мария Никитична Глущенко, Динислам Асхатович Зиннатуллин, Юлия Витальевна Смирнова, Юлия Сергеевна Макина, Даниил Сергеевич Фролов, Виктория Тимофеевна Баринова, Александра Москалева, Дисана Резиуановна Гергова, Анастасия Сергеевна Варгаузина, Анастасия Андреевна Фёдорова, Анастасия Владимировна Суханова, Мурат Алибиевич Лайпанов, Наташа Батенёва, Любовь Витальевна Барвих, Максим Александрович Шумаков, Полина Александровна Митина, Кирилл Иванович Гуляев, Светлана Владимировна Чугунова-Катуччи, Виктория Анатольевна Павлова.

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова» благодарит всех за участие и помощь.



Автограф Валентина Курбатова из архива поэта Александра Себежанина

